

Ярость

Автор:

Салман Рушди

Ярость

Салман Рушди

Малик Соланка, миллионер из Бомбея, получивший образование в Кембридже, пытается убежать от самого себя. Он бросает мир науки, становится кукольником, но, когда в нем поселяется ярость, с которой он боится не совладать, Соланка оставляет семью и отправляется за океан. Он надеется обрести покой и забвение в сердце Нью-Йорка, переживающего дни неслыханного изобилия. Но повсюду вокруг него – ярость... Удивительный роман, безжалостная черная комедия, шокирующее проникновение в самые темные стороны человеческой природы.

Салман Рушди

Ярость

Посвящается Падме

Часть первая

Профессор Малик Соланка, в прошлом специалист по истории идей, а ныне мастер-кукольник, человек вспыльчивый и несдержанный, после пятидесяти пяти по собственному (осуждаемому многими) выбору сделавшийся холостяком и отшельником, в свои «серебряные годы» неожиданно обнаружил, что живет в золотом веке. За окном стояло долгое влажное лето – первое лето третьего тысячелетия, взваренное, потное. Город кипел деньгами. Никогда еще стоимость жилья и арендные ставки не взлетали так высоко, а мода не была столь модной. Новые рестораны открывались каждый час. Магазины, агентства, галереи соревновались за право удовлетворять заоблачные потребности во все более изысканной продукции: оливковое масло эксклюзивного выпуска, штопоры по триста долларов за штуку, изготовленные на заказ «хаммеры», новейшие антивирусные программы, акробаты и близнецы для эскорт-услуг, видеоинсталляции, ар брют (искусство маргиналов), невесомые шали из пуха бородок вымирающих горных коз. Такое множество людей обустроивало свои жилища, что эксклюзивное оборудование для дома пользовалось громадным спросом. Возникали очереди на покупку ванн, дверных ручек, импортной древесины твердых пород, антикварных каминов, биде, мраморных плит и прочего. Несмотря на недавнее падение индекса фондовой биржи НАСДАК и цен на акции «Амазона», новые технологии держали город на крючке; все только и обсуждали что новые интернет-компании, первичное размещение акций, интерактивность – невообразимое будущее, которое едва брезжило. И будущее это было огромным казино, где все делали ставки и каждый надеялся выиграть.

На улице, где жил профессор Соланка, богатенькая белая молодежь в мешковатом прикиде маялась бездельем на розовых от солнца верандах, стильно имитируя бедность в ожидании миллиардов, которые вскорости непременно получит. Сексуально отстраненный, но по-прежнему оценивающий взгляд профессора невольно задержался на рослой молодой женщине с зелеными глазами и высокими скулами, выдававшими ее центральноевропейское происхождение. Колючий ежик рыжеватых волос поклоунски торчал из-под черной бейсболки с логотипом альбома «Вуду» Д'Анджело, на полных губах играла сардоническая улыбка, и она без всякого стеснения хихикала, по-простецки прикрывая рот ладонью, – потешалась над старомодным, щеголеватым маленьким Солли Соланкой, который, в соломенной

панамской шляпе, кремовом льняном костюме и с тросточкой в руках, совершал свой ежедневный моцион. Имя Солли приклеилось к нему в колледже. Он никогда его особенно не любил, но так и не сумел от него избавиться.

– Эй, сэр! Сэр, простите! – окликнула его блондинка властным тоном, требующим ответа.

Юнцы-сатрапы из ее свиты насторожились, как преторианская гвардия. Она нарушала правила жизни в большом городе, ничего не боясь, полностью уверенная в своих правах, своей власти и своих стражах. Всего лишь бесцеремонность хорошенькой мордашки, ничего особенного.

Чуть помедлив, профессор Соланка повернулся к скучающей у порога богине. Она же как ни в чем не бывало продолжила:

– Вы много гуляете. Выходите из дома раз пять-шесть на дню. Я то и дело замечая, как вы куда-то идете. Сижу здесь и вижу, как вы то уходите, то приходите. Но у вас нет собаки, и непохоже, чтобы вы водили подружек или отправлялись в магазин. На работу в такое странное время не ходят. Вот я и спрашиваю себя: что это он все ходит туда-сюда один? Вы, наверное, слышали – какой-то парень бродит по городу и бьет женщин по голове куском бетона. Нет, если бы я думала, что вы извращенец, то не стала бы с вами разговаривать. И этот ваш британский акцент – в нем что-то есть, правда? Несколько раз мы даже увязывались за вами, но вы просто бродили без цели, шли куда глаза глядят. Мне показалось, будто вы что-то ищете. Вот я и решила выяснить, что бы это могло быть. Просто по-дружески, по-соседски. Вы загадка. Для меня уж точно.

В нем поднялась волна внезапного гнева.

– Я ищу только одного, – рявкнул он. – Покоя! – Его голос дрожал от негодования, гораздо более сильного, чем заслуживала ее навязчивость, негодования, повергавшего его в шок всякий раз, когда оно потопом пронеслось через нервную систему.

Эта неожиданная агрессивность заставила девицу отпрянуть и замкнуться в молчании.

– Мужик, – проговорил самый крупный и бдительный из «преторианцев»,
центурион с обесцвеченной перекисью шевелюрой, без сомнения ее любовник, –
не слишком ли ты задирист для того, кто ищет покоя?

Девушка кого-то напоминала профессору, но вот кого? Он никак не мог
вспомнить, и этот небольшой сбой памяти, проявление возраста, приводил его в
бешенство. К счастью, блондинки уже не было – никого не было, – когда он
возвращался с карибского карнавала, в мокрой панаме, весь промокший до
нитки после того, как его застиг врасплох теплый ливень. Когда он пробежал под
дождем мимо синагоги «Шеарит Исраэль» на Централ-Парк-Уэст («белого кита»
с треугольным фронтоном над четырьмя – или сколько их там? – коринфскими
колоннами), ему запомнилась тринадцатилетняя девочка, едва отметившая
совершеннолетие, свою бат-мицву. Профессор увидел ее через боковую дверь:
она стояла с ножом в руке, ожидая церемонии освящения хлебов. Ни одна
религия не знает обряда измерения благодати, подумал Соланка, а ведь,
казалось бы, хотя бы англикане вполне могли изобрести что-нибудь в этом духе.
Лицо той девочки светилось в сгущавшемся мраке, и в юных округлых его
чертах читалась уверенность, что сбылись самые высокие ожидания.
Благословенная пора, если вы не гнушаетесь слов вроде «благословенный»,
которых скептик Соланка всегда избегал.

По соседству, на Амстердам-авеню, развернулась летняя праздничная тусовка
квартала, уличная ярмарка, успеху которой не помешал даже ливень. Как
подозревал профессор Соланка, сваленные здесь в кучи уцененные товары
могли бы занять достойное место на полках и в витринах самых изысканных
бутиков и дорогих универмагов на большей части планеты. В Индии, Китае,
Африке, Южной Америке – проще говоря, в наиболее обделенных благами
широтах – люди, имеющие время и деньги для следования моде, убили бы за
товары с уличных развалов Манхэттена, равно как за поношенные наряды и
хлипкую мебель из грандиозных магазинов эконом-класса, бракованный фарфор
и уцененную одежду с дизайнерскими бирками, которые можно отыскать в
дисконт-центрах деловой части города. Таким легкомысленно-обыденным
отношением к изобилию, к этому незаслуженному богатству Америка оскорбляет
всех прочих на планете, думал профессор Соланка в свойственной ему
старомодной манере. Но сейчас, в эпоху изобилия, Нью-Йорк сделался объектом
страстного вождения всего мира, и это оскорбление только еще сильнее
распалает желания остальных. По Централ-Парк-Уэст разъезжали конные
экипажи, и колокольчики на лошадиной сбруе звенели, как монетки в руке.

Киношный хит сезона живописал упадок Римской империи, которой правил цезарь в исполнении Хоакина Феникса. Честь и достоинство, не говоря уже о смертельных расправах, были здесь ограничены пределами огромной гладиаторской арены – амфитеатра Флавиев, или Колизея, воссозданного на компьютере. У ньюйоркцев тоже были свои цирки, свои зрелища и свой хлеб: мюзиклы о симпатичных львах; гонки на мотоциклах по Пятой авеню; Брюс, поющий в «Мэдисон-сквер-гарден» о сорока и одной полицейских пулях, унесших жизнь безвинного Амаду Диалло; полицейские, бойкотирующие этот концерт «Босса» Спрингстина; Хиллари vs.[1 - Против (лат.)] Руди Джулиани; похороны кардинала; кино про симпатичных динозавров; автомобильные кортежи двух в целом взаимозаменяемых и одинаково несимпатичных кандидатов в президенты (Гуш, Бор); Хиллари vs. Рик Лацио; гроза во время концерта Спрингстина на стадионе Ши; инаугурация кардинала; мультфильм о симпатичных британских цыплятах; литературный фестиваль плюс целая серия шумных шествий, отмечающих этническое, национальное и сексуальное многообразие города и заканчивающихся (иногда) поножовщиной и нападениями (обычно) на женщин. Профессор Соланка, который почитал себя прирожденным поборником равноправия, исконным горожанином, возвращенным в убеждении, что деревня хороша только для коров, в дни парадов вышагивал щека к щеке (потной) с согражданами. В одно воскресенье он смыкал ряды с узкобедрыми, гордящимися своей нетрадиционной ориентацией геями, в следующее – отплясывал с толстозадой пуэрториканкой, обернувшей голую грудь национальным флагом. У него не было ощущения, будто толпа вторгается в его личное пространство, совсем наоборот. В толпе, защищенный от вторжений, он обретал желанную анонимность. Здесь никого не интересовали его заморочки. Каждый приходил сюда забыть, кто он есть. Таково было несвязное волшебство людской массы; и в те дни единственная цель жизни профессора Соланки заключалась в том, чтобы уйти от себя. В тот самый дождливый уик-энд воздух наполнился ритмами калипсо, и не просто какими-то там «Прощай, Ямайка» Гарри Белафонте или песнями-дразнилками времен юности Соланки, теплые воспоминания о которых вызывали у него теперь чувство неловкости («Скажу тебе прямо: я осёл. Не пытайся меня привязать, потому что я осёл, я буду брыкаться и орать, я осёл, не пытайся меня привязать»), а сатирами настоящих оппозиционеров-трубадуров с Ямайки, музыкой групп «Банана бёрд», «Кул раннингс» и «Йеллоубелли», долетавшей из Брайант-парка, где она звучала вживую, и лившейся из вознесенных на высоту плеча бумбоксов повсюду на Бродвее.

И все же, когда профессор Соланка возвратился домой с карнавала, им завладела меланхолия, привычная тайная грусть, которую он сублимировал в

общественную сферу. Что-то было не так с этим миром. Оптимистическая философия его юности «мир-есть-любовь» покинула профессора, и он не знал, как примириться со все более фальшивой (другое идеально подходящее сюда слово – «виртуальный» – было ему глубоко отвратительно) реальностью. Его преследовали вопросы власти. Что творят втихую правители города, пока разгоряченные горожане вкушают лотос во всем его разнообразии? Не всякие там Джулиани и Сэйфиры, которые остаются оскорбительно равнодушными к жалобам изнасилованных женщин, пока в вечерних новостях не покажут снятую случайным прохожим сцену надругательства. Не эти топорно сработанные марионетки, а те, что на самом верху, пытающиеся утолить свои ненасытные желания, алчущие новизны, пожирающие красоту и всегда, всегда жаждущие большего. Уклоняющиеся от схватки, но реально существующие короли мира (безбожник Малик Соланка отказывал этим людям-фантомам в вездесущности). Вздорные, несущие смерть цезари. Как выразился бы его друг Райнхарт, Болингброки с холодной душой. Трибуны, диктующие свою волю современным Кориоланам, Кориоланусам, а говоря по-простому, способные взять всех этих мэров и полицейских комиссаров за задницу... Профессор Соланка поежился. Он достаточно изучил себя, чтобы сознавать, что и сам отмечен клеймом вульгарности, и все же был шокирован, когда на ум ему пришел этот грубый каламбур.

Кукловоды заставляют нас брыкаться и орать по-ослиному, переживал Малик Соланка. Кто же дергает за веревочки, когда мы, марионетки, отплясываем под их дудку?

Между тем телефон заливался, когда он вошел в квартиру, все еще роняя дождевые капли с полей панамы. Он схватил с базы трубку и прокричал с раздражением: «Да! Слушаю! В чем дело?» Голос жены достиг его уха, пройдя через кабель, проложенный по атлантическому дну – или, быть может, уже через спутник высоко над океаном? Теперь, когда все меняется, и не скажешь наверняка. Теперь, когда век импульсного набора сменился веком тонового; когда эпоха аналога (она же эпоха языкового богатства, аналогий) уступила место цифровой эре, знаменуя окончательную победу цифры над словом. Он всегда любил ее голос. Пятнадцать лет назад в Лондоне он позвонил в издательство своему другу Моргену Францу, но того не оказалось на месте, и проходившая мимо Элеанор Мастерс сняла надрывавшуюся трубку. Они не были знакомы, но закончили разговаривать только через час. Спустя неделю они ужинали у нее дома, и ни один из них даже не заикнулся о том, что подобный выбор места встречи для первого свидания нарушает все нормы приличий. И были правы, что подтвердили полтора десятка прожитых вместе лет. Итак, он

влюбился в ее голос раньше, чем в нее саму. Прежде им нравилось вспоминать эту историю, но теперь, когда они пожинали горькие плоды своей любви, когда воспоминания оборачивались болью, когда им не осталось ничего, кроме голоса в телефонной трубке, их повесть, конечно, стала самой печальной на свете. Профессор Соланка вслушивался в звуки голоса Элеанор и с долей отвращения представлял себе, как этот голос дробят на маленькие частички оцифрованной информации, как ее низкое, красивое контральто сначала пожирает, а потом выплевывает главный компьютер, расположенный где-нибудь в районе станции Хайдарабад-Декан. Как выглядит цифровой эквивалент привлекательности, думал он, какими цифрами кодируется красота? Что за набор чисел вбирает ее в себя, трансформирует, пересылает, раскодирует, умудряясь при этом сохранить, не разрушить самую ее суть? Красота, этот призрак, это сокровище, минует все новомодные машины без ущерба для себя не благодаря технологиям, но вопреки им.

«Малик! Солли! (Это для того, чтобы позлить.) Ты меня не слушаешь. Ты весь ушел в себя, в одну из этих своих фантазий, и тот простой факт, что твой сын болен, даже не отложился у тебя в голове. Тот простой факт, что каждое утро, просыпаясь, я слышу – и это невыносимо, – как он спрашивает, почему папы нет дома. Не говоря уже о самом элементарном. О том, что ты ушел от нас без какой-либо причины, без тени намека на разумное объяснение. Ушел, улетел за океан, предал всех, кто нуждается в тебе, кто любит тебя больше жизни. До сих пор, черт тебя подери, любит, несмотря ни на что!» Это был просто кашель, никакой угрозы для жизни мальчика, но она права: профессор Соланка ушел в себя. И в этом коротком телефонном разговоре. И во всей их жизни, когда-то общей, а теперь отдельной, в браке, считавшемся нерушимым, лучшим союзе, по мнению их друзей. И в родительстве, в отношениях с Асманом Соланкой, до невозможности хорошеньким, славным трехлетним мальчуганом, золотоволосым, на удивление, чадом темноволосых родителей, которые нарекли его небесным именем (Асман, сущ., м. р., букв. небо; перен. рай), поскольку он и был для них обоим тем единственным небом, единственным раем, в который они могли искренне и безоговорочно верить.

Профессор Соланка извинился перед женой за свою рассеянность, а она уже рыдала. Эти громкие, трубные всхлипы отдавались болью в сердце, ведь его ни в коем случае нельзя было назвать бессердечным. Он молча ждал, когда она успокоится. А после заговорил самым вкрадчивым тоном, лишая себя – и ее – права на выражение эмоций. «Я понимаю, что для тебя мой поступок необъясним. Помнишь, ты сама меня учила, какую роль играет необъяснимое, – в этом месте она повесила трубку, но он все же закончил фразу: – у... у

Шекспира?» Эти сказанные в пустоту последние слова запустили механизм его памяти. Он вновь увидел жену обнаженной. Пятнадцать лет назад длинноволосая двадцатипятилетняя Элеанор Мастерс, во всей своей нагой красе, лежала, пристроив голову у него на коленях, а низ ее живота фиговым листком прикрывал растрепанный томик полного собрания сочинений великого классика в синем кожаном переплете. Таким было неприличное, но стремительно сладкое завершение их первого ужина. Он принес с собою вино, три бутылки дорогущего «тиньянелло антинори» (целых три, что явно свидетельствовало об отчаянных намерениях соблазнителя), а она запекла для него ароматную, приправленную тмином ногу ягненка и подала ее со свежим цветочным салатом. На ней было маленькое черное платье, и она, босая, легко и неслышно перемещалась по квартире, которая носила явный отпечаток модного в прошлом веке стиля блумсберийской богемы. Элеанор с гордостью продемонстрировала ему попугая, который умел подражать ее смеху – слишком звучному и глубокому для такой хрупкой женщины. Их первое и последнее свидание вслепую. Оказалось, что вся она под стать своему голосу: не просто красивая, а еще и умная, уверенная в себе, но ранимая, к тому же умеющая отлично готовить. Отведав настурции и выпив изрядное количество тосканского красного, она начала излагать содержание своей докторской диссертации (к этому моменту они уже сидели на полу в гостиной, на ковре ручной работы от Крессиды Белл), но рассказ ее был прерван поцелуем, потому что профессор Соланка безропотно, как жертвенный агнец, возлег на алтарь любви. Все последующие, долгие и добрые, годы они будут спорить, кто же первым сделал шаг навстречу: она станет яростно, но с лукавым блеском в глазах отрицать, что могла вести себя столь вызывающе, а он – прекрасно зная, как все было на самом деле, – настаивать, что это она первая «набросилась на него».

«Так ты меня слушаешь?» – проговорила она. «Да», – кивнул он, поглаживая маленькую, идеальной лепки грудь. Она прикрыла его руку своей и пустилась в объяснения. По ее предположению, в сердце каждой великой трагедии лежат неразрешимые вопросы о природе любви, и, чтобы понять пьесу, мы должны дать им свое объяснение. Почему Гамлет, любя покойного отца, тянет с отмщением, почему рушит жизнь влюбленной в него Офелии? Почему Лир, которому Корделия дороже остальных дочерей, не разглядел сердечного тепла в ее искренности и пал жертвой нелюбви ее сестер? Почему Макбет, достойнейший из мужей, преданный королю и отечеству, так легко позволяет исполненной соблазна, но не ведающей любви жене увлечь его к трону на крови? Профессор Соланка, все еще рассеянно сжимавший в руке телефонную трубку, в своей нью-йоркской квартире благоговейно вспоминал затвердевшие под его пальцами соски нагой Элеанор и ее экстравагантную интерпретацию

трагедии Отелло, который, как она полагала, пострадал не столько от «беспричинной злокозненности» Яго, сколько от собственной бесчувственности: «Мавр невероятно глуп в любви. Идиотская ревность заставляет его убить жену, которую он якобы любит, хотя доказательства ее неверности ничтожны». И вывод Элеанор: «Отелло не любит Дездемону. Однажды в моей голове как будто что-то щелкнуло, и я это поняла. Настоящее озарение. Он говорит, что любит, но это не может быть правдой. Потому что, если бы он ее любил, убивать было бы не из-за чего. В моем понимании для Отелло Дездемона – трофей, самое ценное и статусное его приобретение, реальное доказательство того, сколь высоко ему удалось подняться и укрепиться в мире белых. Понимаешь? Он любит не ее, а то, что с ней связано. Очевидно, что Отелло не негр – он мавр, араб, мусульманин. Его имя, по всей вероятности, латинизированная форма арабского Атталла или Атаулла. Он не продукт христианского мира, с его грехом и искуплением. Скорее, ему ближе мир исламской морали, полюса которого – честь и бесчестие. Лишая жизни Дездемону, он совершает „убийство во имя чести“. Виновна она была или нет, не имело никакого значения. Достаточно того, что на нее легла тень подозрения. Дав повод усомниться в ее добродетели, она покусилась на честь Отелло, допустила несовместимое с честью. Вот почему он не слушает ее, не дарует права на оправдание, не прощает, как это сделал бы истинно любящий мужчина. Отелло любит только себя, одного себя – и как ее любовника, и как господина, любит то, что позднее Расин, более расположенный к высокопарному стилю, назовет *flamme* и *gloire*, пламенем и славой. Для мавра Дездемона даже не человек. Он превратил ее в нечто иное. Она – его „Оскар“, его Барби. Статуэтка. Кукла. По крайней мере, я отстаивала такую точку зрения, и они присвоили мне ученую степень. Может, только за мое нахальство, эдакую наглость». Она сделала большой глоток «тиньянелло», выгнула спину, обеими руками обняла его за шею и притянула к себе. Больше в тот день они не рассуждали о трагедии.

И вот теперь, много лет спустя, профессор Соланка стоял под горячим душем, согреваясь после прогулки под дождем в компании любителей калипсо, и ощущал себя напыщенным идиотом. Бить Элеанор тезисами из ее же диссертации было жестокостью, без которой он вполне мог бы обойтись. О чем он думал, приписывая себе и своим жалким поступкам шекспировский размах? Неужели всерьез осмелился поставить себя на одну ступень с мавром на венецианской службе или королем Лиром, уравнивать свои ничтожные необъяснимости с их тайнами? Подобное тщеславие, без сомнения, могло служить более чем достаточным основанием для развода. Он должен перезвонить ей, сказать все это и извиниться. Но и это будет неверным шагом. Элеанор не желает разводиться. Даже сейчас она хочет, чтобы он вернулся. «Ты

прекрасно знаешь, – говорила она ему не раз, – что все будет хорошо, если ты откажешься от своих глупостей. Все будет просто замечательно. Я не смогу без тебя».

И от такой жены он ушел! Если у нее и были недостатки, так это неприятие орального секса. (У него тоже имелся свой пунктик: он не выносил, чтобы во время любовного акта дотрагивались до его головы.) Если у нее были недостатки, так это обостренное обоняние, из-за которого ему постоянно мерещилось, будто от него воняет. (В результате он стал чаще мыться, что, в общем-то, и неплохо.) И еще она покупала вещи, даже не спрашивая, сколько они стоят. Странная особенность для женщины, которая, как говорят англичане, «не рождена в деньгах». Она привыкла, что ее содержат, и могла потратить за Рождество больше, чем нормальные люди в массе своей зарабатывают в полгода. И еще любовь к сыну ослепила ее и сделала нечувствительной к потребностям всего остального человечества, включая, прямо сказать, и желания профессора Соланки. Она хотела еще детей. И хотела больше, чем всех сокровищ арабского Востока.

Да нет, она была безупречной: самая нежная, внимательная любовница; самая замечательная мать, харизматичная и изобретательная; самый непритязательный и надежный товарищ; не болтушка, но умеющая говорить убедительно (взять хотя бы их первый телефонный разговор); знаток, одинаково искушенный как в еде и напитках, так и в человеческих душах. Улыбка Элеанор Мастерс тешила самолюбие Соланки, как тонкий, изысканный комплимент. Ее дружба приободряла, словно поощрительное похлопывание по плечу. И что ж такого, что она без счета тратила деньги? Неожиданно для самих себя Соланки разбогатели, и всё благодаря шокирующей всемирной популярности его куклы – нахально ухмыляющейся девицы, чью самоуверенную беспардонность почему-то приняли за «особый стиль общения». Живым воплощением ее стал рожденный восемью годами позже Асман Соланка, сверхъестественным образом оказавшийся темноглазым, но светловолосым и очень-очень хорошеньким. И хотя по всем повадкам он был самым настоящим мальчишкой, сорванцом, который без ума от экскаваторов-гигантов, роликовых коньков, космических кораблей и локомотивов, истинным носителем философии «Я-думаю-что-могу-Я-думаю-что-могу-Я-ду-мал-что-смогу-Я-думал-что-смогу» неукротимо описывающего круг за кругом паровозика по прозвищу Кейси Джонс из сказки о слоненке Дамбо, Асмана постоянно принимали за девочку. Быть может, из-за миловидности и длинных ресниц, но скорее потому, что при взгляде на него люди всегда вспоминали более раннее творение его отца. Куклу по имени Глупышка.

На исходе восьмидесятых профессор Соланка окончательно разочаровался в университетской жизни, с ее ограниченностью, распрями и провинциализмом. «Могилы уготованы всем нам. Профессора одно лишь только мучит: визиту книжного червя могильный червь не рад. С ним очень скучно, – продекламировал он Элеанор и добавил (напрасно, как выяснилось позднее): – Готовься к бедности». А затем, к ужасу коллег, но с молчаливого одобрения мало что смыслящей в подобных делах жены, оставил штатную должность в Королевском колледже Кембриджа, где до того момента изучал развитие идеи ответственности государства перед гражданами и за них и параллельного, а иногда враждебного ей представления о свободе личности, и поселился в Лондоне, на Хайбери-Хилл, в непосредственной близости от стадиона футбольного клуба «Арсенал». Вскоре его поглотило с головой – да! – телевидение, вызвав, вполне предсказуемо, насмешки завистников, в особенности когда Би-би-си заказала ему серию популярных программ по истории философии, главными действующими лицами которых выступали бы большие яйцеголовые куклы, собственноручно им изготовленные.

Это было уже слишком. Простительная эксцентричность, которая сходила с рук уважаемому коллеге, стала несносной блажью трусливого перебежчика, и «Приключения Глупышки» еще до выхода на экран были анонимно высмеяны интеллектуалами разного пошиба. Когда программу запустили в эфир, к общему удивлению и досаде «доброжелателей», за первый же экранный сезон из тайного удовольствия для узкого круга избранных она перешла в разряд классики, сделалась культовой и обрела отрадно юную и постоянно увеличивающуюся армию поклонников, пока наконец не удостоилась чести занять вожделенное место сразу после главного вечернего выпуска новостей. Вот тут-то она расцвела в полнокровный хит телевизионного прайм-тайма.

В Королевском колледже знали, что лет в двадцать пять Малик Соланка, посетивший Амстердам, чтобы прочитать доклад о религии и политике в одном институте явно левого толка, существующем на деньги семьи Фаберже, побывал

в Рейксмузеуме и был околдован выставленными там бесценными кукольными домиками, чье убранство с педантичной точностью воссоздавало внутренний уклад жизни голландцев на протяжении веков. У домиков не было фасада, как будто его снесло бомбой. Целостность этих маленьких театров довершал зритель, он был четвертой стеной. После этого все в Амстердаме виделось Соланке миниатюрным: и отель на Херенграхт, где он остановился, и дом Анны Франк, и даже невероятно красивые женщины из бывшей голландской колонии, Суринама. Это была шутка сознания – представлять человеческую жизнь уменьшенной, съезжившейся до кукольных размеров. Молодой Соланка оценил дар по достоинству. Некоторая скромность в определении масштабов людских устремлений – это то, что надо. Если хотя бы однажды этот тумблер переключился в вашей голове, очень трудно вернуться к прежнему восприятию. «Меньше – лучше», как говаривал в те дни британский экономист Эрнст Фридрих Шумахер. Прекрасное – в малом.

Изо дня в день Малик наведывался к кукольным домикам Рейксмузеума. Никогда прежде его не посещала идея смастерить что-то собственными руками. Ныне же он не мог думать ни о чем, кроме стамесок и клея, лоскутков и ниток, ножниц и мастики. В своем воображении он постоянно создавал обои, мягкую мебель, идеальные простыни или эксклюзивную сантехнику. Однако после нескольких походов в музей он понял, что одних домов для него недостаточно. Его воображаемые интерьеры должны быть заселены. Без людей все не имеет смысла. Голландские кукольные дома, несмотря на всю их изысканность и красоту, несмотря даже на способность заполнить собой и расцветить его воображение, в конце концов стали рождать в нем мысли о конце света, каком-то немислимом катаклизме, не принесшем материальной собственности серьезного вреда, но начисто уничтожившем все живое. (Это происходило за несколько лет до создания нейтронной бомбы, окончательного торжества неживого над живым.) С тех пор как подобная мысль впервые пришла ему в голову, само место стало для него отвратительно. Теперь ему мерещились запасники музея, где в гигантские кучи свалены миниатюрные трупы: птицы, звери, дети, слуги, актеры, дамы и господа. Однажды он вышел из знаменитого музея, чтобы никогда более не возвращаться в Амстердам.

Вернувшись в Кембридж, он немедленно приступил к сотворению личного микрокосма. С самого начала его кукольные домики были продуктом идеосинкретического личного видения. Сперва они выглядели странно, даже причудливо; научная фантастика увлекала его воображение в будущее вместо прошлого, всецело и непоправимо оккупированного голландскими миниатюристами. Но период увлечения научной фантастикой не продлился

долго. Соланка вскоре осознал всю цену работы, уподобляющей тебя великому матадору, который вплотную приближается к быку, когда из собственной жизни и ее сиюминутных декораций ты творишь при помощи алхимии искусства нечто странное. Это его озарение, которое Элеанор назвала бы «электрической вспышкой», привело к созданию серии кукол великих мыслителей, составляющих «мертвые картины»: полицейские избивают дубинками Бертрана Рассела на митинге пацифистов в разгар войны; Кьеркегор спешит в оперу, чтобы друзей не беспокоила его поглощенность работой; Макиавелли вздергивают на дыбе; Сократ осушает чашу с цикутой; и, наконец, любимец Соланки, двуликий и четырехрукий Галилей. Один его лик беззвучно изрекает истину, одна пара рук прячет под одеждой миниатюрную модель Галактики с обращаемой вокруг Солнца Землей. Другой же лик – лик кающегося грешника с потупленным взором – под мрачными взглядами мужей в алых одеждах публично отрекается от запретного знания, другая пара рук крепко и почтительно сжимает Библию. Когда через много лет Соланка оставил работу в университете, эти куклы сослужили ему хорошую службу. Они – и кукла-вопрошатель, искатель знания, призванная по его замыслу стать своего рода телевизионным дознавателем, воплощением «среднего зрителя», странница во времени по прозвищу Глупышка, сделавшаяся звездой экрана, растиражированная в громадных количествах и продаваемая по всему миру. Глупышка, сотворенная из его ребра. Его помешанный на моде, но не чуждый идеализма Кандид, его рыцарь без страха и упрека, городской партизан, коротко стриженная девочка, скитающаяся по северу Японии с чашей для подаяния в руках, как монах нищенствующего ордена из стихов Мацуо Басё.

Глупышка обладала острым умом, была дерзкой и бесстрашной, искренне жаждущей глубоких познаний, истинной мудрости; не столько ученик, сколько агент-provokator, она побуждала великие умы к удивительным откровениям. Так, оказалось, что любимый беллетрист знаменитого еретика Баруха Спинозы – это Пэлем Грэнвил Вудхауз. Удивительное совпадение, если учесть, что Спиноза – любимый философ бессмертного вудхаузовского камердинера Реджинальда Дживса, того, что скользил по паркету, будто танцуя шимми. (Спиноза, который перерезал веревочки и освободил Господа Бога от роли небесного кукловода, который полагал, что Откровение – часть человеческой истории, а не что-то выше нее. А также строго следил, чтобы галстук и рубашка сочетались друг с другом.) В «Приключениях Глупышки» великие умы также могли путешествовать во времени. Благодаря этому арабский мыслитель иберийского происхождения Ибн Рушд (Аверроэс) и его еврейский двойник Моше Бен Маймон нашли наконец точку соприкосновения: оба оказались страстными болельщиками бейсбольной команды «Янки».

Лишь однажды Глупышка зашла слишком далеко. В беседе с Галилео Галилеем она в модной нынче у потягивающих пиво и треплющихся ни о чем девиц манере предложила великому философу свой умереть-не-встать взгляд на его несчастья. «Да на твоём месте, уважаемый, я бы не позволила попам принудить себя врать. – Тут она наклонилась к собеседнику и заявила со страстной убежденностью: – Пусть бы только попробовали! Я подняла бы гребаную революцию. Я подожгла бы их гребаные дома. Спалила бы к черту весь гребаный город». Естественно, тон этих высказываний смягчили еще при подготовке программы и слово «гребаный» в эфир не попало, но ведь вся соль-то была не в нем. Мысль о поджоге Ватикана не могла остаться незамеченной телевизионными шишками, и Глупышка впервые оказалась оскорбленной, но бессловесной жертвой цензуры. Что же она могла поделывать, кроме как снова и снова по примеру Галилея шептать: «И все-таки она вертится. И я сплю все дотла»?

А что же Кембридж? Уже первые рукотворные опыты Солли Соланки – космические станции и напоминающие кокон лунные дома – отличались оригинальностью и фантазией, которые, как громогласно заявил в застольной беседе знаток французской литературы, занимающийся Вольтером, были «освежающе далеки» от его научной работы. Все слышавшие остроту вознаградили ее автора оглушительным хохотом.

«Освежающе далеки». Типично оксбриджская, оксфордско-кембриджская манера легкой пикировки, на первый взгляд добродушный, но больно задевающий обмен колкостями. Профессор Соланка так и не смог привыкнуть к этим шпилькам, нередко бывал ими глубоко ранен, всегда притворялся, что уловил соль, но никогда ее не обнаруживал. Станным образом это роднило его с острословом, с этим специализирующемся на Вольтере обидчиком, чье имя – Кшиштоф Уотерфорд-Вайда – звучало просто чудовищно. Впрочем, обычно остряка звали просто Дабдабом, и именно с ним Соланку связывала самая странная, ни на что не похожая дружба.

Университетское окружение вынудило Уотерфорда-Вайду, как и Соланку, усвоить принятую здесь манеру разговора, но и он не сумел ни понять ее, ни принять. Соланка знал об этом и не держал на Дабдаба зла за «освежающе далеких». Чего он не забыл, так это хохота сотрапезников.

Дабдаб был жизнерадостный старый итонец при деньгах, предмет восхищения доброй половины дебютанток аристократического спортивного Херлингем-клуба, наполовину поляк, сурово взиравший на мир, сын выбившегося в люди коренастого иммигранта-стекольщика, который выглядел, говорил и пил как подзаборный хулиган, однако, к ужасу всей местной знати, на редкость удачно женился («Софи Уотерфорд вышла за какого-то полячишку!»). Сам Дабдаб, с его волнистыми, мягкими волосами, имел привлекательную наружность поэта Руперта Брука, несколько подпорченную тяжелой квадратной челюстью. Он являлся обладателем шкафа, забитого кричащими твидовыми пиджаками, собственником ударной установки и мощного автомобиля; при всем том у него не было подружки. Когда в первый университетский год Дабдаба на балу первокурсников ни одна из эмансипированных шестидесятниц не пошла с ним танцевать, он в сердцах воскликнул: «Ну почему в Кембридже все девушки такие грубые?!» – на что какая-то бессердечная Андреа или Шерон ответила: «Потому что большинство здешних мужчин такие, как ты». Тогда он пошел к фуршетным столам и в самой игривой манере предложил другой юной красавице свою «колбаску». Но эта полная черного юмора Сабрина, эта Ники, привыкшая безжалостно отшивать надоедливых поклонников, сладко пропела, даже не повернув в сторону Дабдаба головы: «Знаете, есть животные, мясо которых я не употребляю в пищу!»

Следует заметить, что и сам Соланка был не без греха: пару раз он не смог побороть искушения съязвить над Дабдабом. Во время их общего выпускного, освободительным летом 1966-го, облаченные в мантии, ликующие, теснимые родителями на лужайке перед колледжем, они позволили себе помечтать о будущем, и простодушный Дабдаб неожиданно заявил, что намерен стать писателем.

– Вроде Кафки, быть может, – произнес он с широкой усмешкой представителя высших слоев, унаследованной от матери усмешкой триумфатора, которую никогда не омрачала тень боли, бедности или сомнения, несколько странной в сочетании с густыми хмурыми бровями, доставшимися ему от отца в память о непередаваемых лишениях, что терпели его предки в заштатном польском городишке Лодзь. – Напишу что-нибудь типа «В крысиной норе», – разглагольствовал Дабдаб. – Или «Ни на что негодный механизм», а может, «Ярость».

Соланка едва сдержал улыбку, великодушно сказав себе, что это противоречие между улыбкой и бровями, между английской серебряной ложечкой и польской

оловянной кружкой, между лощеной, высоченной и плоской как доска, словно сошедшей с модной картинки а-ля Круэлла де Виль матерью и квадратным, приземистым, плосколицым отцом оставляет пространство, из которого может появиться на свет плодовитый и успешный писатель. Кто его знает? Возможно, именно такие условия более всего подходят для взращивания неожиданного литературного гибрида, английского Кафки.

– Или, напротив, – продолжал рассуждать Дабдаб, – можно заняться созданием коммерческой литературы. «Долина глупеньких куколок». Как тебе такое название? Хотя возможна и золотая середина, нечто среднее между литературой для интеллектуалов и чтивом. Большая часть человечества отличается средними умственными способностями. Это так, Солли, даже и не спорь. Людям нравится, когда их заставляют слегка пошевелить мозгами. Главное не перегнуть палку. И не утомлять количеством страниц. Никаких толстенных томов, как у этих ваших занудных классиков вроде Толстого или Пруста. Книги небольшого объема, после которых не болит голова. Популярные короткие пересказы шедевров мировой литературы. «Отелло» зазвучит очень свежо, если превратить его в «Мавра-убийцу», ты согласен?

Тогда все и случилось. Выпивший к тому времени уже немало марочного шампанского Уотерфорда-Вайды – ни один из родителей Соланки не посчитал выпускную церемонию достаточным поводом, чтобы приехать из самого Бомбея, и великодушный Дабдаб настоял, что в этот день должен «налить другу стакан» и наполнять вновь и вновь, – Соланка резко и едко высказался по поводу абсурдной идеи Кшиштофа, с убийственной прямоотой заявив, что мир запросто обойдется без писаний Уотерфорда-Вайды.

– Я тебя умоляю, только не эти зловещие семейные саги из мрачной сельской жизни. «Возвращение в Брайдсхед», пересказанное как «Замок, или История чудовищных превращений»? Бога ради, только не это. И еще. Что касается эротических проказ, ты уж воздержись от подобных сюжетов. Какая из тебя Жаклин Сюзанн? Ты скорее Алекс Портной. Она, кстати, сказала – помнишь? – что восхищается талантом г-на Рота, но руки бы ему не подала. А эти твои блокбастеры на основе классики?! Это уже совсем... «Тайна Корделии»?! «Загадочные происшествия в Эльсиноре»?! Ха-ха-ха!

После нескольких минут этих дружеских, но далеко не дружественных комментариев Дабдаб пошел на попятную.

– Хорошо, – примирительно сказал он, – может, и вправду лучше мне податься в режиссеры. Мы отправляемся на юг Франции. Возможно, там как раз требуются постановщики.

В душе Малик Соланка всегда питал слабость к дурашливому Дабдабу – отчасти из-за способности того говорить подобные вещи, но также потому, что за аристократическим гаерством скрывалось по-настоящему благородное и открытое сердце. К тому же Соланка был перед ним в долгу. Холодной осенней ночью 1963-го в общежитии Королевского колледжа на Маркет-Хилл восемнадцатилетний Соланка отчаянно нуждался в спасении. Свой первый день в колледже он провел в постели, не в силах вылезти из нее, поскольку пребывал в жесточайшей депрессии, видел демонов. Разверстая пасть будущего грозила пожрать его, подобно поглотившему собственных детей Кроносу, а прошлое – к этому моменту связи его с семьей совсем разрушились – разлетелось на черепки. Оставалось невыносимое настоящее, в котором он не мог существовать вовсе.

Лучше уж не вылезать из постели, замереть и накрыться с головой одеялом. И он забаррикадировался в своей безликой общежитской комнате, обставленной мебелью из блеклой норвежской сосны, с окнами в стальных рамах, от всего, что могло ждать его в будущем. Какие-то голоса звучали за дверью – он не отвечал. Шаги приближались и удалялись. В семь часов вечера совсем иной голос – громче, вальяжнее и требовательней – прокричал: «Это не у вас пропал большой, неподъемный чемодан со смешным именем на крышке?» И Соланка, к собственному изумлению, заговорил. Так был положен конец дню ужаса, дню оцепенелого бесчувствия и начало университетским годам. Потрясающий голос Дабдаба, подобно поцелую принца, разрушил злые чары.

Оказалось, что чемодан с пожитками Соланки по ошибке отправили в общежитие на Пиз-Хилл. Крис – он тогда еще не стал Дабдабом – помог отыскать тележку, погрузить на нее чемодан и дотолкать до места назначения, после чего поволок незадачливого хозяина тяжелой кладью в столовую колледжа поужинать и выпить пива. Позже они сидели рядышком и слушали, как ректор Королевского колледжа, недостижимый и сиятельный, со сцены разъясняет им, что в Кембридже они ради трех вещей: «Интеллект, интеллект и еще раз интеллект!» И что в грядущие годы больше всего – больше, чем из семинаров или лекций, – они вынесут из общения друг с другом, «взаимно обогащаясь». «Ха-ха-ха!..» Гогот Уотерфорда-Вайды, который невозможно было оставить без внимания, потряс гробовую тишину после этой сентенции. Соланка любил его за это непочтительное ржание.

Дабдаб не стал ни писателем, ни режиссером. Он написал диссертацию, получил докторскую степень, после чего ему предложили место в университете, в которое он буквально вцепился с благодарным видом человека, одним махом разрешившего все проблемы дальнейшей жизни. Этот его вид помог Соланке разглядеть за маской «золотого мальчика» молодого человека, отчаявшегося вырваться за пределы привилегированного мира, в котором тот был рожден. Пытаясь как-то объяснить это для себя, Соланка мысленно нарисовал образы светской пустышки матери и отца – неотесанного чурбана и деспота, – но фантазия его подвела: оба родителя Дабдаба при близком знакомстве оказались милейшими людьми и, похоже, искренне любили своего отпрыска. И все же Уотерфорд-Вайда жил с ощущением безысходности и даже признался однажды, выпив больше обычного, что место преподавателя в Королевском колледже – «единственное стоящее, что у меня есть в этой проклятущей жизни». Именно это, в то время как по общим меркам он владел многим. Быстроходным автомобилем, ударной установкой, фермой в Рохэмптоне, трастовым фондом, светскими связями... Соланка, которому вдруг изменило сочувствие, о чем он сожалел впоследствии, предложил Дабдабу поменьше валяться в грязи самоуничтожения. Дабдаб напрягся, кивнул и разразился принужденным хохотом – «ха-ха-ха!» – однако после этого много лет не заговаривал о личном.

Интеллектуальный потенциал Уотерфорда-Вайды для многих коллег оставался загадкой, тайной Дабдаба. Слишком часто он выглядел откровенно недалеким. Его первым прозвищем, которое, однако, не прижилось, поскольку оказалось чересчур злым даже по меркам Кембриджа, было Пух, в честь бессмертного, наивного до глупости медвежонка, притом что научные труды Дабдаба снискали ему заслуженное уважение в академических кругах. Диссертация о Вольтере не просто принесла ему докторскую степень, но и стала первой ступенью на пути к будущей славе и гордости, знаменитой книге в защиту Панглосса, где он прослеживал эволюцию взглядов этого выдуманного, но крайне уважаемого персонажа от чрезмерного, в духе Лейбница, оптимизма до защитного квиетизма, полной покорности божьей воле. Эта работа Дабдаба шла настолько вразрез с дистопической, коллективистской, политически ангажированной современной реальностью, что стала для многих, включая Соланку, настоящим шоком. После ее выхода Дабдаб начал читать ежегодный курс лекций «Cultiver Son Jardin», то есть «Возделывай свой сад». Немногим в Кембридже – разве что Певзнеру и Ливису – удавалось собирать такие толпы. Молодые (или, точнее, более молодые, ведь Дабдаб, несмотря на некоторую старомодность в одежде, еще не распрощался с молодостью) являлись, чтобы забросать лектора вопросами и поднять на смех, однако уходили притихшими и задумчивыми, подпав под обаяние его глубинной доброты, той простодушной уверенности

всеобщего любимца и неизменной убежденности в том, что он будет услышан, которая вызволила Малика Соланку из паники первого дня.

Времена меняются. Однажды утром в середине семидесятых Соланка незаметно проскользнул в аудиторию, где его друг читал лекцию, и уселся в последнем ряду. Теперь его поразили безапелляционность высказываний Дабдаба и то, как она разряжалась вступающей с ней в резкий контраст почти абсурдной, комической туповатостью. Вы видели хлыща в твиде, безнадежно утратившего контакт с тем, что всё еще называли *Zeitgeist*, духом времени. Однако слышали вы нечто иное: всеобъемлющую беспросветность, мировую скорбь в духе Беккета. «Вам нечего ждать от этой жизни, – возвещал он аудитории, как ультралевым радикалам, так и субъектам, чьи длинные волосы были унижены бусинами, потрясая потрепанным экземпляром „Кандида“, – вот чему учит нас эта замечательная книга. Жизнь нельзя улучшить. Ее следует принять как данность. Звучит ужасно, я знаю, но ничего не попишешь. Она такая, какая есть, – и точка. Дарованную человеку способность к самосовершенствованию можете считать злой шуткой Господа».

Еще десять лет назад, когда разнообразные утопии, марксистские, хипповские, казалось, вот-вот сбудутся, когда экономическое процветание и полная занятость позволяли молодым интеллектуалам потворствовать своим сколь блистательным, столь и идиотским фантазиям о самоустранении из жизни социума или революционном Эревоне, батлеровском Едгине (Нигде наоборот), его могли линчевать или, по меньшей мере, заставили бы заткнуться. Но это была Англия, переживающая последствия шахтерской забастовки и трехдневной рабочей недели, трещавшая по швам Англия, образ, явленный великим монологом Лаки из «Ожидания Годо», страна, в которой человек мельчает и опускается на глазах, где золотые грезы о том, что счастливое будущее ждет за ближайшим поворотом, стремительно тускнеют. И дабдабовская стоическая трактовка Панглосса – наслаждайся миром; принимай его таким, каков он есть, со всеми его язвами и прочим, ведь ничего нельзя изменить; наслаждение и отчаяние – понятия относительные – завоевывала все большую популярность в этом изменившемся мире.

Сам Соланка также подпал под ее влияние. Порой, когда он мучительно пытался сформулировать свои взгляды на вечную проблему власти и индивида, ему словно бы слышался подстрекательский голос Дабдаба. Наступило время централизованного вмешательства государства в экономику и прочие сферы жизни общества, и если Соланка не бежал за толпой, то в этом была отчасти

заслуга Уотерфорда-Вайды. «Государство не способно сделать тебя счастливым, – нашептывал на ухо Дабдаб, – оно не способно сделать тебя хорошим или залечить сердечные раны. Государство содержит школы, но может ли оно привить ребенку любовь к чтению? Или это должен сделать ты? Государство создает систему здравоохранения, но что поделаешь с огромным количеством людей, которые ходят по врачам без всякой нужды? Государство строит муниципальное жилье, но не гарантирует добрососедства». Первая книга, точнее, брошюра Соланки «Что нам нужно?», в которой он отслеживал, как по ходу истории изменялись взгляды европейцев на взаимоотношения государства и гражданина, подверглась жестокой критике с обоих полюсов политического мира; впоследствии ее признали одним из оправданий того, что позднее было названо тэтчеризмом. Профессор Соланка, который терпеть не мог Маргарет Тэтчер, вынужден был с чувством вины признать, что в этом есть доля правды, какой бы оскорбительной для него она ни была. Консерватизм Тэтчер оказался контрпродуктивным: он разделял характерное для поколения Соланки недоверие к институтам власти и использовал оппозиционный язык этого поколения для разрушения старых силовых блоков – но не ради передачи власти народу (что бы там под этим словом ни подразумевалось), а ради наделения ею шайки своих приспешников. Экономика медленно, но верно приходила в упадок, и именно философия шестидесятых была тому виной. Подобные размышления немало способствовали решению профессора Соланки навсегда уйти из мира науки.

К концу семидесятых Кшиштоф Уотерфорд-Вайда был уже настоящей звездой. Настало время харизматичных ученых. Окончательное торжество науки, когда физика делается новой метафизикой и микробиология, а не философия разрешит наконец великий вопрос, что есть человек, пока не наступило; литературоведение обернулось гламурным ремеслом, и его корифеи, словно бы в семимильных сапогах, переносились с континента на континент, чтобы выступать уже на международной сцене. Дабдаб перемещался по миру, словно гонимый ветром, который ерошил его серебряные, раньше времени поседевшие локоны даже в аудитории, придавая ему сходство с актером Питером Селлерсом в «Чудотворце». Порой восторженные поклонники принимали его за Жака Дерриду, великого француза, но он отмахивался от такой чести с чисто английской самоуничижительной улыбкой, в то время как его польские брови оскорбленно сдвигались к переносице.

Именно в ту эпоху появились на свет две великие индустрии будущего. Индустрии культуры в последующие десятилетия предстояло заменить собой идеологию, обретя приоритет, которым прежде обладала экономика, и

извергнуть из себя целую номенклатуру культурных комиссаров, новую породу аппаратчиков, подвизающихся в великих министерствах дефиниций, исключений, переработок и гонений, и диалектику, основанную на новом дуализме защиты и нападения. И если культура сделалась новым секуляризмом, то новой религией стала слава, и индустрия – или, лучше сказать, культ – популярности задала значительную работу новому священству, миссию обращения новичков в свою веру, завоевания нового Фронттира, сооружения своих средств доставки из блестящего целлулоида, электронно-лучевых ракет, работающих на продуктах сгорания сплетен и готовых вознести избранных к звездам. И во имя темных нужд новой веры совершались даже человеческие жертвоприношения; вознесенные внезапно и опалившие крылья камнем падали вниз и разбивались насмерть.

Дабдаб оказался одной из первых жертв, современным Икаром. Соланка редко виделся с ним в его золотые годы. Жизнь разводит нас посредством обыденных случайностей, и однажды, словно вынырнув из глубокого забытья, мы с изумлением обнаруживаем, что прежние друзья стали нам чужими и их уже не вернуть. «Неужели здесь никто не помнит беднягу Рипа ван Винкля?» – спрашиваем мы и понимаем, что так оно и есть. Нечто подобное произошло и с нашими старыми университетскими приятелями. Дабдаб все больше времени проводил в Америке, для него придумали особую кафедру в Принстоне. Поначалу были частые телефонные звонки. Потом почтовые открытки, дважды в год – на Рождество и в день рождения. А затем тишина. Она продлилась до тех пор, пока одним тихим летним вечером 1984-го, когда Кембридж был особенно похож на свой открыточный образ, в дубовую дверь профессора Соланки (блок «А», над студенческим баром, квартира, некогда занимаемая романистом Э. М. Форстером) не постучала некая американка. Ее звали Перри Пинкус, и она была хрупкой, темноволосой и большегрудой, сексуальной и молодой, но, по счастью, не настолько, чтобы оказаться студенткой. Все это вкупе произвело самое благоприятное впечатление на меланхолическое сознание Соланки. Он приходил в себя после завершения первого бездетного брака, а Элеанор Мастерс еще не появилась на горизонте. «Мы с Кшиштофом приехали в Кембридж вчера, – сообщила Перри Пинкус. – Живем в Гарден-хаус. То есть я живу. Кшиштоф сейчас в Адденбрукской лечебнице. Вчера ночью он перерезал себе вены. У него очень сильная депрессия. Он спрашивал о вас. У вас есть выпить?»

Она зашла и с любопытством огляделась по сторонам. Кукольные дома всевозможных размеров и человеческие фигурки повсюду – в домах, конечно, но не только, среди мебели, по углам, на полу, мужчины и женщины, побольше и

поменьше, из ткани и дерева. Перри Пинкус была тщательно (но сильно) накрашена; веки отягощала черная бахрома ресниц. Она явилась во всеоружии, готовая в любой момент вступить в сексуальный поединок: короткое обтягивающее платье, чем-то неуловимо напоминавшее кольчугу, высоченные каблуки, похожие на клинок стилета. Не слишком подходящий вид для женщины, чей любовник прошлой ночью пытался покончить с собой, но она не искала себе оправданий. Перри Пинкус была молодой особой с факультета английской филологии. И ей нравилось ложиться в постель со звездами стремительно разрастающегося околотитературного круга. Возможные последствия (жены, суицид) мало волновали ее, сторонницу случайных связей. При всем при этом она была яркой, жизнерадостной и, подобно всем нам, считала себя вполне приличным, даже, наверное, хорошим человеком. После первой рюмки водки – профессор Соланка всегда держал в морозилке бутылку на всякий случай – она вполне обыденно рассказала: «У него депрессия. Клинический случай. Не знаю, что мне делать. Он милый, но я избегаю мужчин с проблемами. В няньки я не гожусь. Предпочитаю, чтобы мужчины сами заботились обо мне». После второй сообщила: «Думаю, он был девственником, когда мы начали встречаться. В голове не укладывается! Он, естественно, это отрицал. Говорил, дома за ним толпы бегали. Оказалось – правда, он богатый жених, но я-то за деньгами не охочусь». После третьей раскрыла новые подробности: «Все, что ему было нужно, это чтобы я взяла в рот или же, напротив, трахнуть меня в задницу. Но это ничего, для меня нормально, честное слово. Я с этим не раз сталкивалась. Просто у меня такой типаж – парень с сиськами. Привлекает сексуально недоопределившихся мужчин. В этом я разбираюсь, уж поверьте». А после четвертой рюмки призналась: «Кстати, о сексуально недоопределившихся мужчинах. Куклы у вас, профессор, что надо».

Тогда он решил, что хоть и голоден сексуально, но все же не настолько. Он вежливо выпроводил ее, довел до главной улицы, Кингз-Пэрэйд, и посадил в такси. Она посмотрела на него из окна отъезжающей машины затуманенным взглядом, а потом закрыла глаза, откинулась назад и слегка пожала плечами: Воля ваша... После он узнал, что Перри Ущипни-за-Задницу была своего рода знаменитостью в глобальных литературных кругах. Нынче можно стать известным благодаря чему угодно, вот и она сумела прославиться.

На следующее утро он навестил Дабдаба. Того разместили не в главном больничном здании, а в районе Трампингтон-роуд, в маленьком симпатичном строении из кирпича недалеко от дороги, со всех сторон окруженном тенистой зеленью; оно напоминало корпус для безнадежных больных. Дабдаб стоял у окна и курил. На нем была накрахмаленная полосатая пижама, поверх которой

было накинута какое-то заношенное, все в пятнах одеяние, похожее на старый халат их студенческих лет и призванное, видимо, исполнять ту же роль, что и спасительное одеяло, под которым скрывался Соланка в свой первый день в Кембридже. Запястья Дабдаба были туго перебинтованы. Он пополнил и постарел, но не утратил – будь она трижды проклята – своей блестящей светской улыбки. Профессору Соланке подумалось, что, если бы ему самому происхождение навязало подобную маску, его запястья оказались бы в бинтах намного раньше.

– Эти вязы поражены голландской болезнью, – проговорил Дабдаб, указывая на обрубки. – Страшное дело. Вязы доброй старой Англии облетают и гибнут. (Облетаютъ и гибнутъ.)

Профессор Соланка не ответил. Он пришел сюда не для того, чтобы беседовать о деревьях.

Дабдаб обернулся к нему и взял себя в руки.

– Не ожидай ничего и не будешь разочарован, – пробормотал он по-мальчишески робко. – Мне бы стоило прислушаться к собственным лекциям.

Соланка промолчал и теперь. Тогда, впервые за много лет, Дабдаб нарушил кодекс старого итонца.

– Все дело в страданиях, – бесстрастно произнес он. – Почему мы все должны так страдать? Отчего вокруг столько страданий? Почему их невозможно остановить? Ты считаешь, будто отгородился от них, выстроил плотину, но ее постоянно размывает, а в один прекрасный день просто сносит к чертовой матери. И такое происходит не со мной одним. Со мною-то все ясно, но ведь так происходит с каждым. И с тобой в том числе. Почему оно должно повторяться снова и снова? Это убивает нас. Я хочу сказать, меня. Это убивает меня.

– Звучит немного абстрактно, – мягко отозвался Соланка.

– Да, пожалуй. – Профессор Соланка явственно услышал щелчок замка. Защитный панцирь снова был на месте. – Прости, что не постучался в твою дверь за добрым советом. Это непросто, когда ты – Винни-Пух и в голове твоей опилки.

– Послушай, – попросил его Соланка, – просто расскажи мне все. Пожалуйста.

– То-то и хуже всего, что рассказывать нечего. Никаких причин, ни прямых, ни косвенных. Просто в один прекрасный день ты просыпаешься и осознаешь, что твоя жизнь больше тебе не принадлежит. И твое тело – я не знаю, как сказать, чтобы ты понял, настолько это страшно, – оно больше не твое. А жизнь течет сама по себе. Но и она не твоя, и в ней не ты живешь. Ты не имеешь с нею ничего общего. Вот и всё. Звучит не очень убедительно, просто поверь. Это все равно как если бы тебя загипнотизировали и внушили, что на земле под окнами навалена большая куча матов. Тогда отчего же не прыгнуть?

– Знаю. Со мной такое было. Может, правда, не настолько серьезно, – согласился Соланка, которому вспомнилась давняя ночь в общежитии на Маркет-Хилл. – Это ты тогда вызволил меня оттуда. Теперь моя очередь.

Его собеседник замотал головой:

– Боюсь, оттуда невозможно так просто взять и вернуться.

Постоянное внимание к его персоне, статус звезды усугубили экзистенциальный кризис Дабдаба. Чем более выдающимся представителем человечества он считался, тем меньше ощущал себя человеком. Тогда он решил отступить, затвориться в обители традиционной академической науки. Никаких больше мировых турне. Никакого «Чудотворца». Никакого Дерриды. Ничего, что напоминало бы перформанс. Окрыленный этой надеждой, он и вернулся в Кембридж в обществе Перри Пинкус, этой сексуальной бабочки-бесстыдницы, искренне веря в то, что с ней сумеет создать нормальную пару и зажить обычной семейной жизнью. Вот насколько далеко он зашел.

Кшиштоф Уотерфорд-Вайда совершил еще три неудачные попытки самоубийства. И как раз за месяц до того, как профессор Соланка, выражаясь метафорически, тоже «покончил счеты с жизнью», то есть расстался со всеми, кто был ему дорог, и, взяв с собой лишь куклу с ультракороткой стрижкой, в самом плачевном виде, искромсанную, в изрезанной одежде, – Глупышку из первой, к тому моменту уже раритетной, промышленной партии, – неожиданно для всех рванул в Америку, земная жизнь Дабдаба завершилась. Три его артерии совершенно закупорились. Несложная операция шунтирования могла бы его спасти, но он отказался от нее и «пал», словно старый добрый английский вяз,

чем, возможно, если вы ищете подобных объяснений, дал толчок метаморфозе Соланки. Уже в Нью-Йорке, вспоминая почившего друга, профессор осознал, что часто следовал за Дабдабом – во многих своих размышлениях, да, но также на пути в le monde mediatique[2 - Медийный мир (фр.)], в Америку, в кризис.

А Перри Пинкус одной из первых интуитивно угадала эту их связь. Она вернулась в родной Сан-Диего, где читала в местном колледже курс лекций о модных современных литераторах и критиках, с которыми спала. «Пинкус и ее сто и один партнер» – так, в своей обычной, бесстыдной манере, охарактеризовала она этот курс Соланке в одной из коротких поздравительных открыток, которые теперь присылала ему к каждому празднику. «Это мое персональное собрание величайших хитов, моя горячая двадцатка, – писала она со свойственным ей жестким цинизмом. – Вы не вошли в нее, профессор. Я не могу вникнуть в труд человека, если не знаю, с какой стороны к нему лучше подобраться – спереди или сзади». Вместе с каждой поздравительной открыткой она непременно отправляла ему мягкую игрушку – маленький подарок, символический смысл которого оставался за пределами понимания Соланки. Утконосы, моржи, белые медведи... Элеанор всегда ужасно забавляли эти мягкие сувениры из Калифорнии. «Поскольку ты отказался спать с ней тогда, – разъяряла она супругу, – она не может воспринимать тебя в качестве любовника, даже потенциального. И пытается вместо этого стать для тебя мамочкой. Ну, и каково это – быть сыночком Перри Ущипни-за-Задницу?»

3

В своей двухэтажной съемной квартире в Верхнем Уэст-Сайде – высокие потолки, бесспорное удобство, роскошная отделка обоих уровней дубовыми панелями и богатая библиотека, делающая честь владельцам апартаментов, – профессор Малик Соланка грел в руке бокал с красным «гейзервиль зинфандель» и предавался грусти. Он вполне сознательно принял решение уехать и все же тосковал по прежней жизни. Что бы там ни говорила по телефону Элеанор, их разрыв был бесповоротным. Соланка не считал себя ни трусом, ни предателем, и тем не менее он сбрасывал старую кожу чаще, чем

змея. Семья, родина и даже не одна, а две жены – вот что он оставил позади. А теперь еще и ребенок. Может, это ошибка – усматривать в его последнем исходе что-то необычное? Возможно, горькая правда состоит в том, что, совершая подобное, он не идет против своей природы, а, напротив, следует ей... Когда он стоял нагой перед зеркалом неприкрашенной правды, именно так все и выглядело.

И тем не менее он, как и Перри Пинкус, считал себя хорошим человеком. И женщины тоже считали его таковым. Чувствуя в нем свирепую убежденность, редко обнаруживаемую в сегодняшних мужчинах, они нередко позволяли себе влюбиться в него, дивясь той стремительности, с которой погружались – умудренные опытом, осторожные – в омут эмоций. И ни одной он не дал повода разочароваться. Он был добрым и понимающим, великодушным и мудрым, остроумным и зрелым. К тому же искусным любовником, без осечек. Это навсегда, думали они, поскольку видели, что и сам он так полагал. С ним они были в безопасности, ощущали себя любимыми, знали, что их ценят. Он разъяснял им – каждой в свой черед, – что дружба, а еще более любовь заменили ему семейные узы. И это звучало правильно. Они отбрасывали сдержанность, позволяли себе расслабиться, полностью отдаться всему хорошему. И ни одной не удалось рассмотреть тайные извилины его души, почувствовать мучительные корчи сомнения, пока не наступал день, когда у него не оставалось сил сдерживаться и отчуждение, словно рвота, выплескивалось наружу сквозь плотно стиснутые зубы. Они никогда не предчувствовали конца, пока разрыв не ударял по ним. «Как будто обухом по голове», по выражению его первой жены, Сары, мастерицы точных и красочных формулировок.

«Знаешь, в чем твоя проблема? – заявила разъяренная Сара перед их последней ссорой. – На самом деле ты любишь только своих чертовых кукол. Ты способен существовать только в своем маленьком ненастоящем мирке. В нем ты господин: захотел – сделал куклу, захотел – сломал, ты волен ими манипулировать. Ты создал мир, где женщины не способны дать сдачи и где ты не обязан с ними спать. Или нет, ты же в последнее время аккуратно выделяешь им влагалища – деревянные влагалища, резиновые влагалища, мерзкие надувные влагалища, – они отвратительно пищат, как надувные шары, если что-то туда засунуть. Не удивлюсь, если где-то в сарае ты уже устроил себе гарем из кукол-цыпочек в человеческий рост. Знаешь, что тебя ждет? Его обязательно обнаружат когда-нибудь. Скорей всего, когда придут тебя арестовывать из-за пропажи восьмилетней светловолосой девочки, эдакой живой куколки, которую ты изнасиловал, а потом расчленил. Поймал бедняжку, поиграл и бросил. Сначала

где-нибудь в кустах найдут ее туфельку, потом – тебя не будет дома – покажут ее по телевизору и дадут описание микроавтобуса, и я узнаю его. „Господи, – скажу я себе, – это же тот автобус, в котором он возит своих уродцев на собрания таких же извращенцев“. Покажите, какие куклы есть у вас, а я покажу вам своих! И я окажусь в роли жены, которая ни о чем не подозревала. И меня покажут по телевизору – жена маньяка, корова, которая что-то мычит, защищая тебя, потому что иначе ей не защитить себя. И все увидят, какая я невообразимая дура, раз уж когда-то выбрала тебя!»

Жизнью движет ярость, подумал он тогда. Ярость – сексуальная, лежащая в основе эдипова комплекса, скрытая в политике, в магии, в звериной жестокости – заставляет нас достигать заоблачных высот или опускаться на невообразимые глубины. Фурии, воплощение ярости, порождают миры, даруют нам вдохновение, свежесть мысли, страсть, но также насилие, боль, абсолютное разрушение, вынуждают наносить и получать удары, от которых нельзя оправиться. Фурии преследуют нас. Танцую танец ярости, Шива разрушает, но одновременно и творит мир. Да что там боги! В своей обвинительной тираде Сара отразила самую суть человеческого духа в его чистейшей, наименее социализированной форме. Вот что мы такое, вот что, цивилизуясь, мы учимся скрывать. Прячем в себе опасное животное, страстное, сверхъестественное, саморазрушительное, сметающее все на своем пути божественное начало, способное заново сотворить мир. Мы возносим друг друга на высоты радости. И рвем друг друга на части.

Ее фамилия была Лир, Сара Джейн Лир, и она приходилась дальней родственницей знаменитому литератору и акварелисту, хотя не унаследовала и части бессмертного сумасбродства великого Эдварда. «Знакомы ль вы с милейшей Сарой Лир, что знает все и обо всем, как всем известно. Глупцу с ней будет скучно, если честно, но для меня она единственный кумир!» Когда Соланка продекламировал эту шутовскую переделку, Сара даже не удостоила его улыбки: «Ты не представляешь, сколько людей уже читало мне ровно те же строки, так что прости, но ты не сразил меня ими наповал». Она была старше Соланки на год или около того и писала диссертацию о Джойсе и французском новом романе. Любовь или, как он понимал теперь, по прошествии времени, скорее, страх перед одиночеством двух молодых, чуть за двадцать, людей явилась для них спасательным кругом, за который оба уцепились, чтобы не потонуть в жизненном море. Это чувство заставило Соланку целых два раза продираться сквозь полный текст «Поминок по Финнегану», когда он обосновался в квартире Сары на Честертон-роуд. А также проштудировать суровую прозу Натали Саррот, Алена Роб-Грийе и Мишеля Бютора. Он заметил,

что порой, когда, обессиленный, на минуту отрывает глаза от этих нагромождений тягучих, не всегда понятных фраз и бросает взгляд на Сару, ее лицо похоже на дьявольскую маску, прекрасное, но полное скрытого коварства. Таинственная королева английских болот. Тогда он никак не мог разгадать, что написано на ее лице. Возможно, это было презрение.

Недолго думая, они поженились и почти сразу же пожалели об этом. И все-таки мыкались вместе несколько невеселых лет. Позднее, рассказывая Элеанор Мастерс о своей жизни, Соланка охарактеризовал первую жену как человека, владеющего стратегией отступления, игрока, готового в любой момент сдаться. «Она почти сразу отказывалась от всего, чего особенно сильно желала. Еще до того, как убеждалась, способна ли воплотить задуманное на самом деле». Сара в свое время была звездой университетского театра, но без тени сожаления в один прекрасный день отказалась продолжать, навсегда забыв о гриме и публике. А после так же забросила диссертацию и устроилась на работу в рекламное агентство, скинув, как куколку, одеяния ученой дамы, синего чулка, и расправив роскошные бабочкины крылышки.

Это произошло почти сразу после их развода. Когда новость дошла до Соланки, он на какое-то время буквально рассвирепел. Прочитать столько вытягивающих жилы текстов, и всё впустую! Да если бы только тексты.

– Из-за нее, – яростно обрушился он на Элеанор, – я как-то посмотрел «Прошлым летом в Мариенбаде» трижды за день! Мы убили целые выходные на то, чтобы понять правила дурацкой игры со спичками, которой они там забавляются. «Ты же знаешь, что не сможешь выиграть!» – «Не бывает игр без проигравших». – «Я знаю, что могу проиграть, но никогда не проигрываю». Вот этой вот замечательной игры! Благодаря ей моя бедная голова до сих пор трещит от всего этого, а она изволила отбыть в далекие миры: «Можешь гордиться собой, раз сумел понять такое!» Я застрял здесь, в вонючем тамбуре французской литературы, а она в дорогом костюме от Джил Сандер расхаживает по офису на Шестой авеню, где-то эдак на сорок девятом этаже, и зашибает, я уверен, уж побольше моего.

– Да, но так, для справки, это ты ее бросил, – заметила Элеанор. – Ты нашел ей замену, а ее отправил в утиль, оставил одну, голодную и холодную. Тебе просто не следовало на ней жениться, это абсолютно всем очевидно, и только это может служить единственным твоим оправданием. Это великий неразрешимый вопрос, поставленный перед тобой твоей королевой Лир: о чем вообще ты

думал? Хотя ты тоже получил по заслугам, когда эта твоя новая – как там ее? вагнеровская валькирия на «харлее» – ушла от тебя к... Уже забыла... К какому-то композитору. – На самом деле Элеанор прекрасно помнила все детали, просто разговор забавлял их обоих.

– Она ушла от меня к этому чертову Румменигге, – рассмеялся уже вполне успокоившийся Соланка. – Помогала ему в постановке титанического представления для трех оркестров и танка «Шерман». После чего он отправил ей телеграмму: «Покорнейше прошу воздержаться от любых сексуальных контактов со мной до тех пор, пока мы не определим, насколько прочна связь, безусловно существующая между нами». А на следующий день прислал билет до Мюнхена в один конец, и она на годы исчезла в непроходимых чащах Шварцвальда. Счастливой от всего этого она не стала. – И тут же он добавил: – Я даже не знаю, удалось ли ей стать богатой.

После того как Соланка уехал, бросив Элеанор, она добавила горький постскрипtum к этим размышлениям.

– А знаешь, я бы хотела услышать их версии всех этих историй, – заметила она во время нелегкого телефонного разговора. – Очень может быть, что ты с самого начала вел себя как хладнокровный подонок.

Направляясь в одиночестве на поздний двойной сеанс, показ сразу двух фильмов Кшиштофа Кесьлёвского, в «Линкольн-Плазу», Малик Соланка попытался представить, как выглядела бы его жизнь, будь она отображена в «Декалоге». Короткометражный Фильм об Уходе из Семьи. Какую из десяти заповедей иллюстрирует его история или, как выразился киновед, предваряя на прошлой неделе очередной показ картины Кесьлёвского, какую заповедь она ставит под сомнение? Множество заповедей предостерегают нас от грехов злоупотребления доверием. Алчность, похоть, прелюбодеяние – все они преданы анафеме. Но есть ли законы, по которым судят тех, кто повинен в грехе беспричинных ошибок?.. Не уклонись от отцовских обязанностей. Приходит время подумать об этом. Не уйди из нашей жизни без охренительно серьезной причины, парень. Та, что ты привел, никуда не годится. Что ты о себе возомнил? Что можешь творить любую хрень? Да кем ты, на хрен, себя возомнил? Хью Хефнером? Далай-ламой? Дональдом Трампом? В какие игры ты играешь? Эй, парень!

Сара Лир где-то здесь, в этом городе, внезапно подумал он. Сейчас ей должно быть хорошо за пятьдесят, важная персона с солидным портфолио, а также правом на спецобслуживание в самых модных ресторанах Манхэттена, «Пастис» и «Нобу», и привычкой проводить выходные в престижных местах к югу от окружной, скажем в Амагансетте. Какое счастье, что незачем ее разыскивать, встречаться с ней, поздравлять с тем, что в этой жизни она сделала правильный выбор! А как бы она торжествовала... Потому что они оба достаточно долго живут на этом свете, чтобы констатировать полную победу рекламы.

А ведь в семидесятые, когда Сара бросила свою «серьезную» научную жизнь ради легкомысленного мира рекламы, это занятие считалось чуть ли не постыдным. Настолько, что даже друзьям о нем сообщали чуть ли не шепотом, конфузливо потупясь. Реклама была игрой на человеческой доверчивости, обманом, печально известным врагом обязательств. Она была – самая страшная для того времени характеристика – откровенно капиталистической. Торговля почиталось занятием низким.

Теперь же все: известные писатели, великие художники, архитекторы и политики – хотели быть в деле. Завязавшие алкоголики впаривали бормотуху. Все и всё пошло на продажу. Рекламные щиты сделались колоссами, штурмующими стены зданий, точно Кинг-Конг. Мало того, они стали любимы. Хотя сам Соланка по-прежнему убавлял звук у телевизора, когда начинался рекламный блок, большая часть людей – он был уверен – поступала ровно наоборот. Героини рекламных роликов – все эти бесчисленные Эстер, Бриджит, Элизабет, Холи, Гизеллы, Тиры, Исиды, Афродиты, Кейт – оказались желанней актрис из прерываемых рекламой фильмов. Да ладно бы только девицы. Желанней актрис были парни из рекламы – будь то Марк Вандерлоо, Маркус Шенкенберг, Марк Аврелий, Марк Энтони или Марки Марк. Явив миру Великую американскую мечту, идеальную, прекрасную Америку, где все женщины – малышки, куколки, детки, а все мужчины – сплошь Марки, проделав капитальную работу по продаже пиццы, внедорожников и сомнительного качества продуктов («Не могу поверить, что это не масло!»), помимо финансового менеджмента и новых интернет-компаний коммерческая реклама занялась исцелением Великой американской боли: мигрени, метеоризма, сердечных приступов, мук одиночества, младенческих и старческих страданий, мучений родителей и детей, женской боли и боли мужской, горечи успеха и поражения, приятной мышечной усталости после спортивных нагрузок или неприятной душевной, если напакостил, тоски покинутых и непонятых, игольно-острой муки больших городов и разлитой, тупой боли необъятных равнин, маеты беспредметных желаний, агонии пустоты, волком воющей в каждом

восприимчивом и хотя бы отчасти сознающем себя существе. Ничего удивительного, что рекламу полюбили. Она все улучшала. Указывала путь. Не нагружала проблемами. Напротив, разрешала их.

Даже в одном доме с Соланкой жил парень, стряпающий рекламные тексты. Он носил гавайские рубахи с красными подтяжками и курил трубку. Копирайтер первым представился Соланке, когда они столкнулись в вестибюле у почтовых ящиков:

- Марк Скайуокер с планеты Татуин.

Под мышкой у него были какие-то свернутые в рулон эскизы.

Что есть такого в моем одиночестве, спросил у себя профессор, что заставляет соседей непременно его нарушать?

Воля ваша, как сказала бы Перри Пинкус. Соланку ничуть не интересовал этот молодой очкарик в бабочке, никак не похожий на джедая. К тому же бывшее увлечение лучшими образцами научной фантастики рождало в профессоре презрение к космическим мыльным операм типа «Звездных войн». Однако он уже усвоил, что в Нью-Йорке не принято навязывать ближнему свое мнение. Еще он привык, представляясь, опускать слово «профессор». Здесь ученость раздражала людей, а соблюдение формальностей воспринималось как бахвальство. Америка – страна диминутивов, уменьшительных слов. Даже названия магазинов и ресторанчиков панибратски коротки. Буквально на соседней улице в ряд шли «У Энди», «У Бенни», «У Джози», «У Gabriely», «У Винни», «У Фредди и Пеппера». Страну сдержанности, недосказанности и умолчаний он покинул – и, в общем-то, поступил правильно. Здесь, в Штатах, можно было запросто зайти к «Ханне» (аптека и медицинские товары) и приобрести бюстгальтер для грудных протезов. Вот он – рекламируется в витрине аршинными красными буквами.

Что ж, профессор был вынужден представиться в ответ.

- Солли Соланка, – бесстрастным тоном отрекомендовался он, а про себя удивился, с чего это вдруг использовал старое и нелюбимое прозвище Солли.

Скайуокер нахмурился:

– Вы что, ландсман?

Соланка не знал этого слова, означавшего «земляк», «соотечественник», в чем тут же виновато признался.

– А, значит, нет, – кивнул Звездный Странник. – А я было подумал... Из-за вашего имени, наверное. Да еще из-за носа, уж простите...

Теперь, когда смысл незнакомого слова выяснился из контекста, у профессора Соланки тут же родился занятный вопрос, который он, впрочем, предпочел не озвучивать: неужели и на планете Татуин тоже есть евреи?

– Значит, вы британец? – продолжал Скайуокер.

Соланка не стал вдаваться в постколониальные миграционные тонкости.

– Мне Мила про вас сказала. Сделайте одолжение, гляньте вот на это.

Очевидно, Милой звали давешнюю собеседницу профессора, юную королеву улиц. Соланка с досадой отметил созвучие их имен: Мила, Малик. Можно не сомневаться, что если бы девушка первой обратила на него внимание, то не преминула бы поделиться с ним подобным наблюдением. А ему пришлось бы отвечать очевидными банальностями: звучание не равно значению, и в данном случае мы имеем дело со случайной межъязыковой перекличкой, которая ровным счетом ничего не значит и уж никак не может послужить поводом для знакомства и общения.

Тем временем молодой копирайтер развернул эскизы прямо на столе в холле.

– Мне нужно ваше мнение. Откровенное, – пустился он в объяснения. – Мы разрабатываем имидж для одной крупной компании.

Соланка глянул: на двойных листах были изображены силуэты известных нью-йоркских небоскребов на закате. Не понимая, как следует реагировать, он сделал неопределенный жест.

– Подписи, – тут же уточнил Скайуокер. – Как они вам?

На обеих картинках красовался один и то же лозунг:

ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ БАНКОВСКОЙ КОРПОРАЦИИ «АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС»
СОЛНЦЕ НИКОГДА НЕ САДИТСЯ.

– Хорошо. Хорошие надписи, – отвечал Соланка, не вполне понимая, каковы они на самом деле: хорошие, так себе или ужасающие...

В принципе, можно предположить, что в любую минуту в какой-нибудь части мира найдется работающий офис «Америкэн экспресс», а значит, данное утверждение правдиво. Но какая польза клиенту в Лондоне от того, что в Лос-Анджелесе офисы «Америкэн экспресс» еще открыты?.. Эти сомнения Соланка оставил при себе и постарался придать лицу самое удовлетворенное и одобрительное выражение.

Однако Скайуокеру этого было решительно мало.

– Как британец, – уточнил он, – вы не чувствуете себя оскорбленным?

Вопрос поставил Соланку в тупик.

– Я хочу сказать – из-за Британской империи. Есть ведь такое выражение, что солнце никогда не садится над Британской империей. Нам важно никого не обидеть своим слоганом. Поэтому я решил еще раз удостовериться, что этот лозунг никак не посягает на славное прошлое вашей страны.

У профессора Соланки от ярости перехватило дыхание. Он испытал бешеное желание наорать на этого типа с идиотским прозвищем, осыпать его отборной руганью, даже, может, вlepить пощечину. С трудом ему удалось взять себя в руки и, не повышая голоса, заверить этого серьезного юного Марка, рядящегося под аса рекламы Дэвида Огилви, что сия банальная формулировка едва ли вызовет хоть какие-то неприятные чувства даже у багроволицых полковников колониальных войск Ее Величества. После этого он спешно прошел в свою квартиру, запер за собой дверь и, чтобы унять бешеное сердцебиение, закрыл глаза и привалился к стене. Он ловил ртом воздух и весь дрожал. Вот она,

оборотная сторона его нового окружения, всех этих «Привет! Как дела?», «Вперед и вверх», «Говорить в лицо», бюстгальтеров для грудных протезов; новой культурной гиперчувствительности, патологического страха кого-то чем-то обидеть. Все это понятно – и ему, и прочим, но дело не в этом. Дело в его внезапной неконтролируемой ярости. Откуда она в нем? Как случилось, что он утратил власть над собой, что вспышки гнева то и дело переполняют его, начисто парализуя разум и волю?

Профессор Соланка принял холодный душ. А потом, задернув шторы и включив на полную мощность кондиционер и потолочный вентилятор в надежде побороть жару и влажность, два часа пролежал в постели. Обычно ему помогало успокоиться глубокое дыхание, но в этот раз пришлось сверх того прибегнуть к техникам расслабления, основанным на визуализации. Он пытался визуализировать, представить свой гнев в качестве физического объекта – как пульсирующий сгусток, мягкий и темный, – и мысленно поместить его в красный треугольник. Затем вообразил, что треугольник сжимается, постепенно становится все меньше и меньше, пока заключенный в нем сгусток не исчезает полностью. Упражнение помогло. Сердце Соланки забило ровнее. Не вылезая из кровати, он включил телевизор – в спальне стоял большой старый, трескучий и завывающий агрегат безнадежно устаревшего поколения – и стал наблюдать, как питчер Орландо Эрнандес Педросо, по кличке Эль Дюк, Герцог, вытворял настоящие чудеса. Чтобы вбросить мяч, бейсболист скрутился так, что доставал носом до колен, а затем в мгновение ока распрямлялся как пружина. Даже в этот неровный, почти панический сезон в Бронксе Эрнандес излучал спокойствие.

Профессор сглупил, переключившись на Си-эн-эн, где только и речи было что про Элиана Гонсалеса, все время. Соланку тошнило от неизбежной людской потребности в тотемах. Катер с кубинскими беженцами пошел ко дну. Маленького мальчика, уцепившегося за резиновую камеру, удалось спасти. Мать его утонула. И вокруг этого тут же началась религиозная истерия. Из утонувшей женщины сделали чуть ли не Пресвятую Деву. Повсюду висели плакаты: «Элиан, спаси нас!» У нового культа, порожденного демонологией кубинских иммигрантов в Майами, согласно которой Кастро, этот дьявол, людоед, каннибал, непременно съест мальчика живьем, вырвет из него бессмертную душу и сожрет ее с горсткой конских бобов, запив стаканом красного вина, немедленно появились свои служители. Помешанный на телевидении, отвратной наружности дядя мальчика был провозглашен чуть ли не папой элианизма, и было ясно как божий день, что его дочь, страдающая нервным истощением семилетняя бедняжка Марислейсис, вот-вот начнет видеть божественные

знамения. Конечно же, не обошлась и без рыбака. Были свои апостолы, несущие новое откровение людям: фотограф, буквально поселившийся в спальне Элиана; киношники и телевизионщики, размахивающие контрактами; не отстающие от них сотрудники издательств; а также сама Си-эн-эн и представители других новостных программ со своими спутниковыми тарелками и пушистыми микрофонами. Тем временем на Кубе из мальчика сотворили другой тотем. Умиравшая революция, революция стареющих бородачей сделала его символом своей обновленной юности. В кубинской версии чудесное спасение Элиана на водах сделалось знаком бессмертия революции, бессмертия лжи. Фидель, что значит Верный, этот язычник, этот неверный, произносил нескончаемые речи, прикрываясь Элианом, как маской.

Отец мальчика, Хуан Мигель Гонсалес, вот уже долгое время почти не комментировал происходящее и не покидал своего родного городка Карденас. Просто сказал, что просит вернуть ему сына. Возможно, с его точки зрения, это звучало достойно или этого попросту было достаточно. Подумав о том, как бы вел себя он сам, если бы между ним, отцом, и Асманом вдруг встали всякие дядья и двоюродные сестры, профессор Соланка нечаянно сломал карандаш, который вертел в руках. Он благоразумно решил, что пора переключиться обратно на спортивный канал, но было уже поздно. Эль Дюк, сам в прошлом кубинский беженец, едва ли мог вытеснить из головы Соланки историю с Элианом. Воображение профессора уже стерло различия между Асманом Соланкой и Элианом Гонсалесом, соединив их причудливым образом, и нещадно пеняло Соланке за то, что в его собственном случае, чтобы разлучить отца с мальчиком, никаких родственников попросту не понадобилось. Асман разлучен с отцом без чьей-либо посторонней помощи. Бессильная ярость вновь поднималась в нем, и, чтобы победить ее, ему пришлось прибегнуть к излюбленной технике сублимации и направить гнев вовне, против помешавшейся на идеологии кубинской диаспоры Майами, которую пережитые унижения превратили в то, что она более всего ненавидела. Борьба против фанатизма сделала иммигрантов фанатиками. Они орали на журналистов, яростно оскорбляли несогласных с ними политиков, грозили кулаками проезжающим мимо машинам. Они толковали о промывке мозгов, а сами являлись ее жертвами. «Не промывки, а загрязнения! – Соланка поймал себя на том, что буквально вопит, обращаясь к кубинцу-подающему на экране телевизора. – Эта жизнь, которую вы ведете, засоряет ваши мозги. А маленький мальчик, которого вы обложили со своими камерами, путаете шумом, фиксируете его испуг и смущение, – что вы сказали ему про его родного отца?!»

Теперь пришлось пройти через все это снова: дрожь, сердцебиение, невозможность вздохнуть, душ, темнота, глубокое дыхание, техника визуализации гнева... Никаких лекарств. В свое время он принимал их слишком много. Психологов он также отверг. Гангстер Тони Сопрано, правда, прибег к услугам мозгоправа, ну так то же в кино! Профессор Соланка решил бороться со своим демоном самостоятельно. Лекарства или сеансы психоанализа он считал надувательством. И если Соланке суждено схватиться с завладевшим им злым духом, уложить его на лопатки и отправить обратно в преисподнюю, то это должен быть поединок, бой без правил, с голой задницей, на кулаках, до смерти.

Было уже темно, когда Малик Соланка посчитал себя готовым выйти из дома. Его все еще била дрожь, но он напустил на себя вид беспечности и отправился на ночной показ фильмов Кесслёвского. Будь он ветераном Вьетнамской войны или многое повидавшим репортером, его поведение было бы объяснимо. К примеру, Джек Райнхарт, американский поэт и военный корреспондент, друживший с Соланкой вот уже двадцать лет, просыпаясь от телефонного звонка, первым делом разбивал вдребезги разбудивший его аппарат. Никак не мог остановиться, поскольку крушил все в полудреме, так и не пробудившись до конца. У Джека сменилось уже множество телефонов, но он принимал это как данность. Он был искалечен и благодарил судьбу, что не пострадал сильнее. Но единственной войной, на которой довелось побывать Соланке, была сама жизнь, и в целом жизнь щадила его. У него водились деньги и было то, что большинство людей назвало бы идеальной семьей. Ему достались исключительная жена и исключительный сын. И все же он сидел посреди ночи на кухне, и на уме у него было убийство. Не метафорическое, а самое настоящее убийство. Он даже поднялся в спальню с разделочным ножом в руке и целую минуту, ужасную, немую минуту, стоял над телом спящей жены. Затем вышел, лег в соседней комнате и рано утром, спешно собравшись, первым же самолетом улетел в Нью-Йорк, ничего не объяснив. Случившееся лежало за гранью понимания. Ему было необходимо, чтобы океан – хотя бы океан! – отделял его от того, что он едва не совершил. Так что мисс Мила, королева Западной Семидесятой улицы, была намного ближе к истине, чем догадывалась. Чем должна догадываться.

Поглощенный своими мыслями, Соланка стоял в очереди в кинотеатр. Позади него, справа, молодой мужской голос, беззастенчиво громкий – пусть все слышат, наплевать! – завел историю, адресуясь не только к собеседнику, но ко всей очереди, всему городу, как будто целому Нью-Йорку было до него дело. Что ж, если живешь в столице, знай: экстраординарное здесь так же обыденно, как стакан диетической колы, ненормальность нормальна, как попкорн. «В конце

концов я позвонил ей сам: типа, здравствуй, мама, как дела, а она мне: а знаешь ли ты, кто сейчас сидит напротив меня и ест мясной рулет, что твоя мамочка приготовила? Санта-Клаус, вот кто! Санта-Клаус сидит сейчас во главе стола, прямо на месте этого змея, этой крысы, этой вонючей похотливой задницы – твоего папочки. Богом клянусь! Представляешь, три часа дня, а она уже набралась. Черт возьми, прямо так и сказала, слово в слово. Санта-Клаус! Ну, я ей: да, мамочка, а Иисуса там, часом, поблизости нет? А она: молодой человек, для тебя он господин Иисус Христос, и, чтоб ты был в курсе, Иисус сейчас готовит нам рыбу. Я решил, что с меня хватит. Ну, говорю, мама, всего вам хорошего, поклон от меня джентльменам». Соланка также услышал, как где-то в конце очереди раздавался пугающе громкий женский смех: «ха-ха-ха!»

Если бы это был фильм Вуди Аллена (некоторые фрагменты «Мужей и жен» снимали как раз в той квартире, которую сейчас арендовал Соланка), после такого монолога публику в зале непременно пригласили бы присоединиться к беседе, встать на чью-то сторону, рассказать подходящую к случаю историю из собственной жизни, желательно похлеще услышанной, а также вспомнить похожие монологи безумных мамашек из фильмов позднего Бергмана, Одзу или Сирка. В фильме Вуди Аллена затем непременно появился бы из ниоткуда, из-за какого-нибудь горшка с пальмой, лингвист Наом Хомский, или социолог Маршалл Маклюэн, или, что более соответствует духу времени, пропагандистка сиддха-йоги Гурумаи либо поклонник индийской духовности Дипак Чопра и в двух словах дали бы увиденному вкрадчивый, приглаженный комментарий. Плачевное состояние, в котором находится мать героя, стало бы последним, на чем ненадолго заострил бы внимание сам Вуди – следует разобраться, как часто у нее бывают галлюцинации: только за едой или в любое время? Какие препараты она принимала и содержалась ли на их этикетках информация о возможных побочных эффектах? Как можно трактовать тот факт, что в ее планы входило покувыркаться не с одной, а сразу с двумя культовыми фигурами? И что бы сказал Фрейд об этом странном сексуальном треугольнике? Что говорит нам об этой женщине ее одинаковая потребность в рождественских подарках и спасении бессмертной души? Как это все характеризует Америку?

А также: если с ней в комнате на самом деле находилось двое мужчин, кто они были? Возможно, беглые преступники, убийцы, решившие отсидеться на кухне несчастной алкоголички? Угрожала ли ей реальная опасность? Или же, ратуя за широту взглядов, мы должны допустить, хотя бы чисто теоретически, что чудо двойного пришествия могло случиться на самом деле? Тогда какой рождественский подарок Иисус попросил у Санты? С другой стороны, если Сын Божий колдовал на кухне с тунцом, надо ли это понимать так, что мясного

рулета на всех не хватило?

В фильме Вуди Аллена Мэриэл Хемингуэй непременно наблюдала бы за всем происходящим с живейшим интересом, но тут же переключила бы внимание на что-то другое. В его фильме эта сцена непременно была бы черно-белой, снятой в совершенном соответствии с действительностью во имя реализма, правдивости и высокого искусства. Но в реальном мире она была цветной и куда хуже прописанной, чем в киносценарии. Когда Малик Соланка круто повернулся, желая сделать юноше резкое замечание, он обнаружил, что стоит нос к носу с Милой и ее центурионом – защитником и любовником в одном лице. Стоило подумать о ней – и вот, пожалуйста, материализовалась! За ее спиной стояла – точнее, шаталась, пихалась, приседала на корточки и принимала другие немислимые позы – вся оставшаяся честная компания со ступенек.

Соланка был вынужден признать, что выглядит она эффектно. Молодые люди сменили унылое тряпье от Томми Хильфигера на одежду совершенно иного, гораздо более элегантного и дорогостоящего стиля, в основу которого было положено классическое для летних коллекций Кельвина Кляйна сочетание белого и бежевого. Несмотря на поздний час, они, все как один, не снимали солнцезащитных очков. Здесь, в мультиплексе, крутили рекламный ролик, в котором модные молодые вампиры в солнцезащитных очках «Рей-Бэн» – благодаря сериалу об потребительнице вурдалаков Баффи кровососы были на пике моды – сидели на дюнах в ожидании рассвета. Тот единственный, что забыл надеть свои очки, живьем зажарился и испарился от первых же рассветных лучей. Его товарищи смеялись и скалили клыки, наблюдая, как он тает в воздухе. «Ха-ха-ха!» А вдруг Мила и компания тоже вампиры? – подумал профессор. А я – тот дурень, что оказался без солнцезащитных очков. Правда, это означало бы, что и сам он – вампир, убежавший от смерти, пренебрегающий законами времени...

Мила сняла солнечные очки и вызывающе посмотрела Соланке прямо в глаза. В этот момент он сообразил наконец, кого же она ему напоминает.

– Смотрите-ка, это ж мистер Гарбо, ка-а-торые хотят, чтобы их а-а-оставили в па-а-кое, – мерзким голосом протянул пергидрольный блондин, намекая, что готов дать достойный отпор сварливому профессору, из которого уже песок сыплется.

Но Малик Соланка при всем желании не мог уйти прочь: взгляд Милы буквально держал его.

– Боже праведный! Да это же Глупышка! Извините, Глупышка – это моя кукла, я ее сделал!

Гигант центурион не понял, что это лепечет старикан, а потому решил, что Соланка не сказал ничего хорошего. И правда, в профессорском тоне было нечто большее, чем просто удивление, – какое-то раздражение, чуть ли не враждебность, что-то похожее на отвращение.

– Полегче, Грета! – Юный гигант вытянул ручищу, достал ладонью до груди Соланки и с силой стал теснить того назад.

Профессор пошатнулся и уперся спиной в стену. Но тут девушка приструнила своего бойцового пса:

– Все в порядке, Эд. Эдди, на самом деле, нормально все.

К облегчению профессора, очередь внезапно начала продвигаться гораздо быстрее. Малик Соланка буквально ворвался в зал и занял место подальше от компании упырей. Свет погасили, но ему казалось, будто взгляд зеленых глаз продолжает сверлить его через весь зал и в темноте.

4

Он гулял всю ночь напролет, но так и не нашел успокоения. Покоя не было даже глухой ночью, а еще менее – в суетливый уже час после рассвета. Не было никакой глухой ночи. Он не мог припомнить маршрут своего ночного путешествия; у него было ощущение, что за эту ночь он прошел весь Нью-Йорк целиком, начав и закончив прогулку где-то в окрестностях Бродвея, но память его зафиксировала громкость белого и цветного шума. Зафиксировала пляску шума, танец абстрактных фигур перед обведенными красным глазами. Пиджак его льняного костюма намок и тяжело обвис на плечах; и все же Соланка решил не снимать его во имя приличий, просто потому, что достойному человеку так

поступать негоже. Не лучше выглядела и его соломенная панама. Городской шум нарастал с каждым днем, а может, нарастала восприимчивость Соланки к шуму, грозившая дойти до той точки, когда срываешься в крик. Вот и сейчас по городу с ревом двигались огромные мусоровозы, похожие на гигантских тараканов. И негде было укрыться от воя сирен, тревожной сигнализации, скрипа тормозов, бибиканья грузовиков, дающих задний ход, невообразимой, бьющей по мозгам музыки.

Часы шли. Герои Кесьлёвского не покидали его мыслей. Куда уходят корнями наши поступки? Двух братьев, ставших чужими друг другу и своему умершему отцу, едва не сводит с ума бесценная коллекция марок, принадлежавшая покойному. Мужчина узнаёт, что стал импотентом, и просто не в состоянии смириться с мыслью, что у его любящей жены может быть сексуальное будущее без него. Всеми нами движут тайны. Стоит нам заглянуть в их завешенное вуалью лицо, как их сила уже толкает нас дальше, в темноту. Или к свету.

Когда он свернул на свою улицу, даже дома заговорили с ним тоном крайней самоуверенности, тоном властителей мира. Католическая школа Святых Таинств стремилась обратить его к вере, взывая к нему на латыни, высеченной в камне: PARENTES CATHOLICOS HORTAMUR UT DILECTAE PROLI SUAE EDUCATIONEM CHRISTIANAM ET CATHOLICAM PROCURANT[3 - Да обеспечат родители-католики своим возлюбленным чадам образование христианское, католическое (лат.)]. Однако это сентиментальное воззвание не затронуло ни одной струны в душе Соланки. На фасаде соседнего дома, над мощным ложноассирийским входом во вкусе приверженного древности голливудского режиссера Сесила Де Милля, было начертано золотыми буквами более афористичное изречение: КАКИМ ПРЕКРАСНЫМ МОЖЕТ СТАТЬ МИР, ЕСЛИ ВСЕХ ЛЮДЕЙ НА СВЕТЕ СВЯЖЕТ БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ. Три четверти века назад это пышное здание, вызывающе прекрасное в самой дерзновенной городской манере, было посвящено, как гласила надпись на его угловом камне, «пифианизму», посвящено без тени смущения перед несовместимостью греческой и месопотамской метафор. Это присвоение и сваливание в кучу сокровищ канувших в Лету империй, эта переплавка или metissage[4 - Культурное смешение (фр.)] былых могуществ были знаками современной мощи.

Пифо – древнее название Дельф, где обитал Пифон, повергнутый Аполлоном, и, что более широко известно, располагался Дельфийский оракул, жрицей которого была Пифия, прорицательница, неистовая в своих экстатических откровениях. Соланка не мог представить, чтобы создатели здания

подразумевали под «пифианизмом» эпилептические припадки и рожденные в конвульсиях пророчества. Поистине эпический размах этого здания нельзя было соотнести и с той скромной ролью, что играл в поэзии так называемый пифийский стих, одна из разновидностей дактилического гекзаметра. Скорее всего, посвящение было связано с Аполлоном как покровителем музыкантов и атлетов. Начиная с шестого века до новой эры каждый третий год олимпийского цикла в Греции проводились Пифийские игры, одно из четырех величайших панэллинских празднеств. Музыкальным состязаниям сопутствовали спортивные, и непременно воспроизводилась великая битва бога и змея. Вероятно, какие-то обрывки этих сведений дошли до людей, отгрохавших святилище поверхностного знания, храм, освящающий убеждение, что невежество, если его подкрепить увесистой пачкой долларов, обращается в мудрость. Храм Аполлона Простака.

К черту классическую мешанину! – мысленно воскликнул профессор Соланка. Ибо вокруг царило более могущественное божество – Америка на пике своей власти, всепоглощающей и разнородной. Америка, куда он явился в надежде избавиться от себя. Освободиться от привязанностей, а заодно – от гнева, страха и боли. Поглоти меня, Америка, воззвал профессор Соланка, поглоти и даруй мне покой!

Против псевдомесопотамского пифийского дворца, через улицу, только что открыл двери лучший в Нью-Йорке симулякр венской Kaffeehaus[5 - Кофейни (нем.)]. В деревянных подставках были разложены свежие номера «Таймс» и «Геральд трибьюн». Профессор Соланка зашел, выпил крепкого кофе и даже позволил себе поучаствовать в самой преходящей из непреходящих городских игр – представляться не тем, кто ты есть на самом деле. В своем теперь уже весьма потрепанном льняном костюме и соломенной панаме он мог сойти за завсегдатя кафе «Хавелка» на Доротеергассе. В Нью-Йорке никто ни к кому особо не приглаждается и лишь немногие наострились различать староевропейские тонкости. Ненакрахмаленная пропотевшая белая рубашка из «Банана-рипаблик», пыльные коричневые сандалии, неухоженная жидкая борода (не подстриженная аккуратно, не напомаженная слегка) здесь никому не резали глаз, не казались фальшивыми нотами. Даже само его имя (при необходимости представиться) звучало для окружающих как нечто mitteleurop?ische[6 - Среднеевропейское (нем.)]. Что за место, думал Соланка. Город полуправд и отзвуков, который как-то ухитряется править миром. И его глаза, изумрудно-зеленые, смотрят вам в самое сердце.

Подойдя к прилавку с аппетитными кусками знаменитых австрийских тортов, Соланка проигнорировал безупречный на вид gâteau [7 - Торт (фр).] «Захер» и попросил вместо этого кусок Linzertorte [8 - Линцкий торт (нем.). Песочный с орехами.], но в ответ получил лишь полный недоумения взгляд латиноамериканца за стойкой. Раздраженному Соланке ничего не оставалось, как пальцем указать на выбранный десерт, после чего он смог наконец спокойно просмотреть газету за чашкой кофе.

Утренние выпуски пестрели сообщениями о расшифровке человеческого генома. Доклад биологов называли лучшей версией «блистательной книги жизни» – оборот, обычно употребляемый в отношении Библии или очередного Романа с большой буквы, хотя новый светоч знания являл собой не книгу, а электронное сообщение, отправленное по Интернету, код, записанный четырьмя аминокислотами. Профессор Соланка не был искушен в кодах. Не смог одолеть даже поросячью латынь (простейший шифр, основанный на перестановке и добавлении букв и слогов), не говоря уже о сигнализации флажками или о вышедшей из употребления азбуке Морзе; не знал ничего, кроме сигнала бедствия: точка-точка-тире-тире-тире-точка-точка-точка. Help. Помогите. Или, на поросячьей латыни, eip-hau. Все строили предположения о чудесах, которые последуют за триумфальной расшифровкой человеческого генома. К примеру, любой сможет обзавестись дополнительной парой конечностей, чтобы покончить с неразрешимой фуршетной проблемой: как можно держать в руках тарелку, бокал да еще и есть? Малику Соланке несомненными представлялись две вещи: первое – какие бы открытия ни были сделаны, он не успеет ими воспользоваться, и второе – эта книга, которая изменила все, трансформировала философскую природу нашего бытия, произвела в нашем знании о самих себе столь значительные качественные сдвиги, что они не могли не перейти в серьезные количественные перемены, – эту книгу он никогда не сможет прочесть.

Покуда люди не доросли до подобной степени понимания, они могли утешаться тем, что все вместе барахтаются в трясине невежества. Теперь же, когда Соланка знал, что кому-то где-то известно то, чего ему познать никогда не дано, и к тому же ясно сознавал, что это известное другим знать очень важно, в нем рождалось глухое раздражение, медленно закипающий гнев дурака. Он ощущал себя трутнем, рабочим муравьем. Он ощущал себя частицей копошащихся тысяч из немых фильмов Чаплина или Фрица Ланга, одним из безликих существ, обреченных быть брошенными в жернова общественного прогресса, в то время как знание властвует над ними с высот. У новой эпохи будут новые правители, и он станет их рабом.

– Сэр. Сэр! – Над ним, в неприятной близости, воздвиглась молодая женщина в синей обтягивающей юбочке до колен и нарядной белой блузке. Ее белокурые волосы были беспощадно стянуты на затылке. – Я вынуждена попросить вас покинуть кафе.

Латиноамериканец за стойкой внимательно наблюдал за ними, готовый в любую минуту вмешаться.

Профессор Соланка изумился совершенно искренне:

– Похоже, какие-то проблемы, мисс?

– Похоже?! Да вы ругаетесь, непристойно и грубо, к тому же в полный голос. Говорите просто недопустимые вещи. Произносите их во всеуслышание. И он еще спрашивает, какие проблемы! Сами у себя и спрашивайте. Уходите, пожалуйста!

Ну, наконец-то, вот он, момент истины, думал Соланка, пока женщина обрушивала на него свою гневную тираду. Здесь все же нашлась одна подлинная австриячка. Он поднялся, накинул на плечи помятый пиджак и, приложив руку к шляпе, неожиданно учтиво кивнул ей, но чаевых не оставил. Профессор не мог взять в толк, что подвигло женщину на столь странную речь. Когда Соланка еще делил супружеское ложе с Элеанор, жена периодически жаловалась, что он храпит. Сквозь полудрему он чувствовал, как она пихает его и просит перевернуться на другой бок. Ему хотелось объяснить, что он вполне осознаёт происходящее вокруг, слышит ее слова, а значит, должен был бы услышать собственный храп или любые другие звуки. Через какое-то время Элеанор сдалась, и Соланка продолжал беспрепятственно храпеть во сне. Пока не наступила ночь, когда он не храпел и не спал. Нет, не теперь, не нужно вспоминать об этом сейчас... Сейчас, когда, судя по всему, он должен был бы находиться в полном сознании и когда в его голове не умолкая звучал нью-йоркский шум.

Подойдя к своему дому, он обнаружил, что у его окна в люльке висит рабочий, что-то подновляющий на фасаде здания, и в полный голос на звучном, раскатистом пенджаби дает указания и обменивается грязными шутками с напарником, стоящим на тротуаре с самокруткой-бири в зубах. Соланка немедленно позвонил хозяевам квартиры, чете по фамилии Джей,

приверженцам здорового образа жизни, возвращающим исключительно органические продукты. Супруги проводили лето на севере штата в компании своих овощей и фруктов. Соланка раздраженно пожаловался на происходящее. Неслыханная невоспитанность! Невыносимо! В договоре ясно сказано, что любой плановый ремонт должен производиться не только исключительно за пределами квартиры, но при этом еще и без лишнего шума. К тому же в квартире плохо работает унитаз. После однократного смывания в нем периодически всплывают небольшие фрагменты фекалий. Соланка пребывал в таком настроении, что этот пустяк вызвал в нем гораздо большую досаду, чем того заслуживал. Он немало поразил своим тоном добродушного Саймона Джея, деликатного и отлично воспитанного владельца квартиры, который счастливо прожил в ней с женой Адой уже три десятка лет, вырастил здесь детей, даже научил их пользоваться этим самым унитазом в этом самом туалете и пребывал в полной уверенности, что каждый проведенный в этих стенах день был безоблачен и полон простых радостей. Соланка не пожелал его слушать. При повторном смывании, правда, фекалии смываются окончательно, однако подобное положение вещей абсолютно неприемлемо. Хозяину следует незамедлительно прислать в квартиру сантехника.

Увы, сантехник, как и ремонтник-пенджабец, оказался разговорчивым субъектом. Его звали Йозеф Шлинк. Несмотря на весьма преклонные годы, он был бодр и активен, растрепанностью седой шевелюры похож на Альберта Эйнштейна, а передними зубами – на мультяшного кролика Багса Банни, и, когда он вошел, им двигала занявшая глухую оборону гордость, побуждая первым делом понести расплату за упущения.

– Только не нато нишего кофорить, хорошо? Мошет, фы тумаете, што я слишком старый, а мошет, и нет. Я пока мыслей шитать не наушился. Но я фам отно скашу: сантехника лушше меня фы фо фсей округе тошно не найдете. И я стороф как пык, не путь я Йосеф Шлинк. – У него был сильный акцент немецкого еврея-беженца. – Мое имя фас запафляет? Ну так и посмейтесь сепе на сторофье! Тшентельмен, мистер Саймон, софет меня Шланк для кухни, а коспоша Ата – Шланк для туалета. Пусть софут меня хоть Шланк фон Писмарк, я не опишаюс, это сфопотная страна. Трукое тело – моя рапота. Фот кте шутки неуместны. Фы снаете, што на латыни юмор есть флака из класа? А фот Хайнрих Пелль, премия Нопеля за семьтесят фторой кот, кофорил, што ему ф писательском труте юмор помокает. Та. А в моей рапоте он прифотит к ошипкам. Так што никаких «влашных клаз» пока я рапотаю, та? И не нато шутить нат моими инструментами. Фсе, што мне нато, – пыстро стелать свою рапоту и пыстро полушить за нее плату. Фсе ясно? Как гофорит ф кино этот shvartzer[9 -

Чернокожий (идиш).], снашала покашите мне тениги. Я фсю фойну латал пропоины на немецкой потфотной лотке. Фы тумаете, после этого я не спрафлюсь с фашей маленькой тырочкой с сапашком?

Образованный сантехник, которому есть что порассказать, подумал профессор, чувствуя, как силы его утекают, словно их спустили. (Он подавил искушение сказать «через шланг».) И это теперь, когда он буквально с ног валится. Город преподает ему урок. Здесь не убежишь ни от навязчивого вторжения, ни от шума. Он пересек океан в надежде оградить свою жизнь от самой жизни. Он прибыл сюда в поисках тишины, а нашел шум куда более громкий, чем тот, от которого он бежал. И теперь этот шум проник в него. Соланка боялся зайти в комнату, где хранились куклы. Может, и они начнут разговаривать с ним? Может, оживут и примутся болтать, судачить, сплетничать, трепаться, пока не вынудят заткнуть им рот раз и навсегда, пока вездесущность жизни, ее немилосердный отказ отступить, эта проклятая невыносимая громкость третьего тысячелетия, от которой голова лопается, не заставят его поотрывать куклам их чертовы башки?

Глубокий вдох. Соланка выполнил круговое дыхательное упражнение. Очень хорошо. Следует воспринимать болтливость сантехника как божью кару. Это поможет смирить гордыню и выработать навыки самоконтроля. Этот сантехник – еврей, которому удалось спастись от фашистских лагерей смерти, укрывшись под водой. Мастерство сантехника расположило к нему всю команду, немцы держались за него до самого последнего дня. После капитуляции он наконец обрел свободу и уехал в Америку, навсегда оставив позади – или все же прихватив с собой (это как посмотреть) – призраков из своего прошлого.

Наверняка Шлинк уже рассказывал эту историю тысячи, миллионы раз. У него успели выработаться свои повествовательные формулы и интонации.

– Только попропуйте сепе претстафить. Сантехник в потфотной лотке уше само по сепе свушит комишно, нет? Но поферх нее – ирония софсем трукоко сорта, *psychologische* [10 - Психологическая (нем.).] слoшность. Я не могу пояснять фам. Просто фот он я, стою сейшас перет фами. Я сохранил сфюю шизнь. Я фыполнил сфое – та-та-та! – претнашертание.

Не жизнь, а настоящий роман, был вынужден признать Соланка. Или фильм. Жизнь, из которой получилась бы вполне кассовая среднебюджетная лента. Дастин Хофман мог бы играть сантехника, а капитана? Клаус Мария Брандауэр

или Рутгер Хауэр. Хотя обе ключевые роли можно было бы отдать молодым, чьих имен Малику не удалось припомнить. С годами тает даже это – знание мира кино, которым он всегда так гордился.

– Вам следует записать этот сюжет и оформить права на него, – нарочито бодро посоветовал он Шлинку. – Это же, как говорят киношники, прямая концепция. Когда весь фильм можно уложить в одну фразу. Ваша «Подлодка 571», «U-Boot 571» займет достойное место рядом со «Списком Шиндлера». Можно сделать обоюдоострую комедию в духе Роберто Бенини. Даже еще жестче. И назвать ее не «U-Boot», «Подводная лодка», а «J?-Boot», «Еврейская лодка».

Шлинк замер. И перед тем как полностью сосредоточить скорбное внимание на унитазе, одарил Соланку мрачным, укоризненным взглядом:

– Я ше уше просил фас – никаких шуток. Мне неприятно гофорить это, но фы нефоспитанный шелофек.

А внизу, на кухне, между тем появилась приходящая домработница, полячка Вислава. Она досталась ему от хозяев квартиры, так сказать, в субаренду, наотрез отказывалась гладить одежду, оставляла после себя нетронутой паутину в углах, а на запыленной каминной полке можно было запросто рисовать узоры. Впрочем, Вислава обладала неоспоримыми достоинствами: у нее был легкий характер и широкая, открытая улыбка. Однако стоило дать ей хоть малейший шанс, да и без того, она непременно ударялась в повествования. О грозное устное сказание, непобедима сила твоя! Всю жизнь Вислава была истовой католичкой, и вот теперь ее вера серьезно пошатнулась из-за истории, похоже абсолютно правдивой, которую рассказал ей муж, а ему, в свою очередь, – дядя, узнавший ее от близкого друга, знакомого с неким Рышардом, много лет проработавшим у Папы Римского личным водителем, естественно, до того, как тот заступил на святейший престол. Так вот, этот самый Рышард повез будущего Папу на выборы в Ватикан через всю Европу в поворотный исторический момент, на пороге великих перемен. О это мужское товарищество, простые человеческие радости и тяготы долгого пути! Приехали они наконец к папской резиденции. Духовное лицо, понятное дело, отправилось заседать с собратями в капелле, а водитель остался его дожидаться. А когда из трубы показался белый дым и возгласили: «Habemus papam!»[11 - У нас есть Папа! (лат.) Формула, возвещающая об избрании нового Папы Римского.], какой-то кардинал, весь в красном, медленно, по-крабьи, будто персонаж из фильма Феллини, спустился по широкому лестничному маршу из желтого камня и замер

на нижней ступени, поджидая запыленный автомобильчик и его водителя. Сдвинув брови и наклоняясь к самому водительскому окну, которое Рышард, жаждавший узнать новости, заранее опустил, кардинал передал первое личное послание нового Папы, поляка по происхождению: «Вы уволены».

Соланке, далекому от католической веры, вообще неверующему, было по большому счету все равно, правдива ли эта история – впрочем, он почти уверовал, что правдива, – и совершенно не хотелось выступать арбитром в жестоком единоборстве уборщицы с демоном сомнения, терзающим ее бессмертную душу. Он предпочел бы, чтобы Вислава вообще с ним не разговаривала, а бесшумно скользила по квартире, оставляя ее чистой или хотя бы пригодной для жилья, а также гладила и аккуратно складывала его выстиранную одежду. Так нет же, хотя каждый месяц он платил восемь тысяч долларов за аренду квартиры (услуги по уборке включены в стоимость), судьба и тут подсунула ему паршивую карту в виде никудышной домработницы. Соланка меньше всего на свете был склонен комментировать шансы Виславы обрести на небесах жизнь вечную, но полячка возвращалась к этой теме с невыносимым постоянством: «Да как же можно целовать перстень такого вот святого отца, пусть даже он, как и я, родом из Польши?! Господи Боже мой! Послать вместо себя какого-то кардинала! Вот так вот, просто раз! – и пинком под зад. И это Его Святейшество Папа! Что уж говорить о простых священниках! Как таким исповедоваться? Как могут они отпускать другим грехи? А как жить без отпущения грехов?! Вот видите, врата ада уже разверзлись под моими ногами!»

Профессора Соланку, терпение которого истощалось с каждым днем, все сильнее подмывало сказать какую-нибудь резкость. Рай, разъяснил бы он Виславе, это такое место, куда входи только самые крутые и могущественные личности в Нью-Йорке. Иногда в качестве демократического жеста туда допускают и кое-кого из простых смертных; бедолаги прибывают туда с тем благоговейным выражением на лицах, которое видишь у людей, понимающих, что им вдруг невероятно, сказочно повезло. Восхищенный трепет черни, живущей за пределами Манхэттена, только усиливает и без того безграничное удовлетворение избранных и тешит самолюбие Хозяина. При этом – взаимосвязи спроса и предложения еще никто не отменял – вероятность того, что сама Вислава сможет попасть в число избранных и занять одно из немногочисленных мест на гостевой трибуне, непосредственно под сенью вечности, крайне ничтожна.

Соланке приходилось сдерживаться, чтобы не высказать ей всего этого, да и много чего другого. Вместо того он обычно молча указывал на паутину и пыль, в ответ на что неизменно получал теплую, открытую улыбку и жест, которым краковяне выражают полнейшее недоумение: «Я работаю на миссис Джей очень давно». Этот ответ, с точки зрения Виславы, автоматически снимал все жалобы. После двух недель общения с домработницей Соланка перестал просить ее о чем-либо, начал сам протирать каминную полку, избавился от паутины и стал носить свои рубашки в отличную китайскую прачечную за углом. И все-таки ее душа, эта несуществующая субстанция, то и дело требовала его внимания и отеческой заботы, которые ему так претили.

У Соланки слегка закружилась голова. Невыспавшийся, одуревший от навязчивых мыслей, профессор направился в спальню. Он отчетливо услышал за спиной голоса своих кукол, которые ожили и сейчас за закрытой дверью, в густой влажной атмосфере комнаты, рассказывают друг другу истории своего появления на свет. Те самые, что он придумал для них. Ведь куклы, у которых нет историй, намного хуже продаются. Наши истории – вот то, что мы таскаем за собою в наших странствиях через океаны и границы, через жизнь. Небольшой запас забавных случаев, всех этих «а потом случилось вот что», наших личных «жили-были когда-то». Мы – это наши истории, а когда мы уходим, то, если повезет, наши истории обеспечат нам жизнь вечную.

Такова величайшая правда, с которой Соланке пришлось столкнуться лицом к лицу. Он-то как раз стремился избавиться от своей прошлой истории. Наплевать ему на то, кто он, где родился и кто бросил его мать, едва лишь Малик начал ходить, бросил, тем самым негласно разрешив и ему, много лет спустя, оставить собственного сына. Да провались они все в ад, эти отчимы, эта тяжесть руки, толкающей вниз, на беззащитной детской макушке, эти бесхребетные матери, эти виновные Дездемоны! Пусть сгинет раз и навсегда весь этот никому не нужный багаж рода и племени! Он бежал в Америку – как и многие тысячи таких же, как он, – в надежде пройти чистилище иммиграционного пункта на острове Эллис, получить его благословение и начать жизнь заново. О Америка, даруй мне новое имя! Сделай меня Базом, или Чином, или Спайком! Окуни меня в амнезию и накрой могуществом неведения. Занеси меня в свой каталог и выдай пару Микки-Маусовых ушей! Позволь мне быть не историком, но человеком без истории! Я вырву грешный свой язык, забуду лживую родную речь и стану говорить на твоём ломаном английском. Просканируй меня, отцифруй, просвети насквозь! Если прошлое – это больная старая Земля, тогда, Америка, стань моей летающей тарелкой. Унеси меня на край Вселенной. Луна, и та слишком близко.

Бесполезно. Через плохо пригнанное окно спальни до Соланки продолжали доноситься истории. Что будут делать Сол и Гейфрид – «она стала кубком Стэнли среди жен-трофеев, статусных жен, когда их развелось не меньше, чем „поршей“», – ведь у них, бедняжек, осталось всего каких-нибудь сорок или пятьдесят миллионов?.. Ура! Маффи Поттер Эштон беременна!.. А правда, что Палому Хаффингтон де Вудди видели на пляже в деревушке Сагапонак милующейся с Ицхаком Перельманом?.. Вы не слыхали про Гриффина и его большую прекрасную Даль?.. Что, Нина собирается запустить новую линию духов?! Да она сама такая древняя, что пахнет исключительно тленом! Мег и Денис не успели в Сплитсвилль переехать, а уже грызутся, кому достанется не только коллекция музыкальных дисков, но и гуру... Как звали ту знаменитую голливудскую актрису, что пустила слушок, будто новая звезда достигла высот благодаря сапфическим шалостям с одним из первых лиц студии? А ты читал последнее сочинение Карен, «Плоские бедра на всю оставшуюся жизнь»? Прикинь, в «Лотусе», самом клевом клубе, разогнали вечеринку по случаю дня рождения Оу Джей Симпсона! Только в Америке, ребята, только в Америке!

Зажав руками уши, так и не сняв своего безнадежно испорченного льняного костюма, профессор Соланка провалился в сон.

5

Около полудня его разбудил телефонный звонок. Джек Райнхарт, гроза телефонных аппаратов, звал профессора Соланку вместе посмотреть по телевизору встречу Голландии и Югославии в четвертьфинале Евро-2000. Малик принял это предложение, изумив их обоих. «Рад выдернуть тебя из твоей кротовой норы, – заверил Райнхарт, – но если ты собираешься болеть за сербов, лучше оставайся дома». Сегодня Соланка ощущал себя освеженным; с его плеч словно свалился некий груз, и, да, он чувствовал, что нуждается в дружеской компании. Даже в эти дни добровольного уединения профессор не лишился подобных потребностей. Просветленные в Гималаях запросто обходятся без футбола по ящику. Соланка не был столь же чист душой. Он скинул костюм, в котором спал, принял душ, быстро оделся и спешно отбыл в направлении центра

города. Когда он вылезал из такси у дома Райнхарта, в машину буквально ворвалась, оттолкнув его, женщина в солнцезащитных очках, при виде которой Соланку – уже второй раз за последние дни – посетил смутное чувство, что он где-то ее видел. Поднимаясь в лифте, профессор вспомнил, кто это был: «Нажми – заговорю». Женщина-кукла. Она стала современным символом пошлой супружеской неверности. Богоматерь с плетью. «Господи, Моника? Да я постоянно ее здесь вижу, – сообщил Райнхарт. – Раньше тут можно было встретить Наоми Кэмпбелл, Кортни Лав и Анджелину Джоли. А теперь вот эта Минни Маус, только не Мышь, а Рот. Да, не тот уже стал райончик-то! Плохо дело».

Райнхарт давно пытался развестись, однако жена целью жизни поставила этого не допустить. Они были красивой, идеальной по контрасту парой. Слоновая кость и эбеновое дерево. Она – тонкая, белокожая и невозмутимая, он – иссиня-черный афроамериканец, к тому же гиперактивный, охотник и рыбак, любитель погонять на спортивных машинах, марафонец, фанат фитнеса, теннисист, а в последнее время, благодаря возросшей популярности гольфиста Тайгера Вудса, еще и самозабвенный игрок в гольф. С самых первых дней их брака Соланка не переставал удивляться, как мужчина, обладающий такой неумемной энергией, может жить бок о бок с женщиной, которая энергии практически лишена. Их пышная, шумная свадьба проходила в Лондоне, поскольку, работая военным корреспондентом, Райнхарт предпочитал обретаться за пределами Америки. Для свадебного торжества было арендовано самое настоящее палаццо, декорированное мозаикой, керамикой и всем полагающимся, которое принадлежало благотворительной организации и по большей части использовалось для реабилитации выздоравливающих душевнобольных. Малик Соланка был шафером и произнес тогда одну из самых своих удачных свадебных речей, тон которой слушателей покорило, во многом из-за того, что Соланка в какой-то момент, по примеру модного тогда комика У. К. Филдса, сравнил риск, на который идут молодожены, вступая в брак, с шансами парашютиста, «выпрыгнувшего из самолета на высоте в десять тысяч метров и рассчитывающего приземлиться в стог сена». К сожалению, его слова оказались пророческими. Однако он, как и подавляющее большинство знакомых, очевидно, недооценил Брониславу Райнхарт, которая в мастерстве присасывания могла дать фору любой пиявке.

(По крайней мере, у них нет детей, подумал Соланка, когда сбылись его собственные дурные ожидания и опасения всех прочих. Он размышлял о своем телефонном разговоре с Асманом. «Папочка, ты меня слышишь? Ты где?..» Он вспомнил себя много лет назад. Райнхарту хотя бы не приходится жить с этой

пронзительной детской болью.)

Слов нет, Райнхарт вел себя не лучшим образом. На постигший его брак он отреагировал тем, что завел интрижку, а тяготы адюльтера заставили его закрутить еще одну; когда же обе возлюбленные попытались подвести его к какому-то решению и каждая пожелала стать ведущей в автогонке его личной жизни, Райнхарт умудрился отыскать в своей и без того переполненной постели место для еще одной женщины. Возможно, Минни Рот как знаковая фигура очень даже соответствовала месту и образу жизни Райнхарта. После нескольких лет такого существования и переезда из лондонского Холланд-Парка в нью-йоркский Уэст-Виллидж Бронислава – и как только этим полякам удастся постоянно всплывать то тут, то там? – выехала из квартиры на Гудзон-стрит и посредством нескольких судебных тяжб обязала Райнхарта обеспечивать ей в высшей степени достойное существование в одноместном номере фешенебельного отеля в Верхнем Ист-Сайде. За ней также оставалось право безлимитного пользования кредитными картами мужа. Вместо того чтобы развестись с ним, объявила Бронислава самым сладким голосом, она решила отравить всю жизнь, что ему осталась, по капле выкачать из него кровь без остатка. «И держи кошелек полным, милый, – посоветовала она, – потому как, если он отощает, мне придется прийти и забрать то, что тебе дорого на самом деле».

Дороже всего Райнхарту были еда и выпивка. Он владел крошечным коттеджем в Спрингсе. Одним из тех, что называют «солонкой с крышкой», двухэтажным с фасада и одпоэтажным с тыла. На задворках, в саду, находился сарай, переоборудованный хозяином в винный погреб. Этот погреб был застрахован на куда большую сумму, чем сам дом, наиболее ценной вещью в котором являлась ультрасовременная газовая плита на шесть конфорок. В те дни Райнхарта называли самоускоряющимся гастрономом, «гурманом с турборежимом»; его холодильник всегда ломился от тушек мертвых птиц, готовых в любой момент пережить свое окончательное исчезновение – или вознесение? – томясь в собственном соку. В этом холодильнике боролись за место деликатесы со всего мира: язычки жаворонков, яички эму, яйца динозавров. Но когда на свадьбе друга Соланка упоенно рассказывал его матери и сестре, каким несравненным удовольствием оборачивается обед у Джека, обе женщины выразили крайнюю степень изумления.

– Джек готовит? Наш Джек? – недоверчиво спросила мать Райнхарта, для верности указывая на сына пальцем. – Джек, которого знаю я, не способен

открыть банку фасоли, пока я в сотый раз не покажу ему, как пользоваться открывашкой.

– Джек, которого знаю я, – вмешалась сестра, – не способен вскипятить воду и при этом не сжечь кастрюлю.

– Джек, которого знаю я, – безапелляционно резюмировала мать, – не отыщет кухню без помощи собаки-поводыря.

Да, этот самый Джек вышел на уровень лучших шеф-поваров мира. Соланка не переставал изумляться способности человека к автоморфозам, изменениям собственной сути, которую американцы почему-то считают своей особой национальной чертой, хотя у них нет для этого никаких оснований. Любят они навешивать на все ярлык «американский»: американская мечта, американский буйвол, американские граффити, американский психопат, американская мелодия. Но все вышеперечисленное имеется и у других наций на планете – все, кроме веры в то, что обозначающий нацию придаток к явлению способен изменить его суть. Английский психопат, индийские граффити, австралийский буйвол, египетская мечта, чилийская мелодия... Для того чтобы по-настоящему обладать вещью, почувствовать ее своей, американцам надо, чтобы она была «американской», думал Соланка, и это выдает их странную уязвимость. Проще говоря, их капиталистическую суть.

Угрозы Брониславы разорить винный погреб Райнхарта возымели действие. Он перестал ездить корреспондентом в горячие точки и вместо этого начал писать в глянцево-журналы хорошо оплачиваемые статьи о супербогатых, суперзнаменитых и супервлиятельных; он сделался светским хронистом, описывая их любовные связи, их сделки, их неуправляемых отпрысков, их личные трагедии, их болтливых служанок, их убийства, их пластические операции, их игры, их распри, их сексуальные предпочтения, их подлость, их щедрость, тех, кто обихаживает их лошадей и выгуливает их собак. Их машины он тоже описывал. Кроме того, Райнхарт бросил сочинять стихи и принялся писать романы, действие которых всегда происходило в одном и том же призрачном мире, который, однако, управляет миром реальным. Он часто сравнивал свои сюжеты с трудами римского историка Светония. «Это жизнь современных цезарей в их дворцах, – разъяснял он Малику Соланке и любому, кто был не прочь послушать. – Они спят со своими сестрами, убивают собственных матерей, вводят в Сенат своих жеребцов. Сплошные изуверства творятся в этих дворцах. Но знаешь, что интересно? Когда ты снаружи, когда ты

– часть толпы, как мы с тобой, тебе видны лишь дворцы как таковые, места, где сосредоточены вся власть и все деньги. Их обитателям довольно шевельнуть пальцем – и наш бедный шарик закрутится как бешеный, куда им взбредет в башку. Круто! (У Райнхарта, когда он хотел подчеркнуть свою мысль или просто дурачился, была привычка лопотать на манер Братца Кролика, озвученного Эдди Мерфи.) Так вот, теперь, когда я пишу об этих миллиардерах в коме или о богатеньких отпрысках, замочивших папу с мамой, теперь, когда я нарыл эту золотую жилу, я вижу и понимаю в жизни гораздо больше, чем раньше, я ближе к истине, чем был, когда писал о гребаной „Буре в пустыне“ или делал репортаж с „аллеи снайперов“ в Сараеве. И здесь намного легче, поверь мне, наступить на чертову противопехотную мину и вмиг разлететься на мелкие кусочки».

Всякий раз, когда профессор Соланка выслушивал очередную версию этой речи, он отмечал все более явственно звучащую в ней ноту неискренности. Когда Джек – в то время подающий надежды молодой чернокожий журналист-радикал, известный своими статьями о природе американского расизма и наживший много могущественных врагов, – впервые поехал на войну, он разделял большую часть страхов, о которых поколением раньше так правдиво вещал молодой Кассиус Клей. Сильней всего Джек боялся получить пулю в спину, умереть от того, что тогда еще не начали называть «огнем с дружественной стороны». В последующие годы, однако, Джек снова и снова наблюдал трагическую склонность человеческого рода ни в грош не ставить этническую солидарность; он видел, как жестоко черные расправлялись с черными, арабы – с арабами, сербы – с боснийцами и хорватами; бывшая Югославия, Иран и Ирак, Руанда, Эритрея, Афганистан. Массовые истребления людей в Тиморе, резня в Мируте и Ассаме, бесконечные катаклизмы, не разбирающие цвета кожи, по всей Земле. Именно в те годы Райнхарт близко сошелся со своими белыми коллегами из США. Тогда же у него изменилось представление о себе. Он перестал считать себя чужим для Америки и стал просто американцем.

Соланка, который всегда тонко чувствовал подтекст, стоящий за подобными переменами самоидентификации, понимал, что в случае с Джеком эта смена личности была вызвана жесточайшим разочарованием, более того, возмущением против тех, кого светлокожие расисты с удовольствием назвали бы «ему подобными»; Соланка понимал также, что злость подобного рода в конечном счете оборачивается против того, кто ее испытывает. Джек жил за пределами Америки, женился на белой женщине и вращался в кругах так называемых *bien-pensant*, либерально настроенных людей, для которых цвет кожи не имел значения – просто потому, что среди них почти не было чернокожих. Вернувшись в Нью-Йорк и порвав с Брониславой, Райнхарт продолжал ухлестывать

исключительно за теми, кого называл «дочерьми бледнолицых». Эта шутка не могла скрыть правду. К этому моменту единственным чернокожим в его окружении был он сам, а единственным темнокожим оставался, пожалуй, Соланка. Райнхарт переступил черту.

И, по всей вероятности, готов был перешагнуть еще одну. Его новая журналистская специализация давала ему доступ во все дворцы, и ему это нравилось. Он писал о роскошной жизни с ядовитой злобой, разнося ее в пух и прах за глупость, слепоту, бессмысленность, бездонную поверхностность, но приглашения от семей Уоррена Редстоуна и Росса Баффеттса, от Скайлеров и Майбриджей, ван Бюренов и Кляйнов, от Иванны Опалберг-Спидфогель и Марлалы Букен-Кендел продолжали поступать, поскольку все они знали, что парень давно и прочно сидит у них на крючке. Он был для них ручным, домашним негром, и, как подозревал Соланка, их вполне устраивало иметь его в качестве домашнего питомца, вроде кошечки или собачки. К тому же его имя – Джек Райнхарт – звучало нейтрально, не вызывая никаких ассоциаций с чернокожими; это вам не какое-нибудь однозначно связанное с гетто Тупак, или Вонди, или Анферни, или Рах'шид (у афроамериканцев входили в моду креативные имена и оригинальная орфография). Во дворцах вы не встретите человека с подобным именем. Здесь мужчина не может именоваться ни Бигги, ни Хаммер, ни Шакил, ни Снуп, ни Дрэ, а женщина – носить имя Пепа, или Лефт-Ай, или Д'Нис. Никаких Кунта Кинтов и Шазнаев в золоченых гостиных. Правда, здесь тоже в ходу свои прозвища: Сташ – Заначка или Клаб – Бита для мужчин с завидными сексуальными способностями либо Бейн, Бруки или Хорн для женщин, и прямо здесь, за дверью роскошных апартаментов, под шелковыми шелестящими простынями, происходит все, что только можно себе вообразить.

Да, женщины, конечно же. Женщины были страстью и ахиллесовой пятой Райнхарта. И он угодил прямиком в Долину Глупеньких Куколок, Хорошеньких Глупышек. Или, скорее, это был Эверест, Пик Райских Пташек, сказочная Вершина Райского Изобилия. Ради этих белокожих рослых Кристин, Кристи, Кристен или Кристел, о которых грезили во всем мире, рядом с которыми не побрезговал бы сняться сам Кастро или Мандела, Райнхарт готов ползать на пузе, сидеть смиренно или стоять на задних лапах. Под бесчисленными слоями Райнхартовой крутости скрывался неприглядный факт: он уступил соблазну. Страстное желание быть принятым – и стать своим – в клубе белых мужчин было его самой страшной, самой черной тайной. Тайной, в которой он не мог сознаться никому, даже себе. Подобные тайны и порождают злость. На этом черном поле всходят семена гнева. И хотя Джек прятал свою тайну под мощной броней, хотя маска с его лица никогда не соскальзывала, Соланка был готов

покаяться, что видел в горящих глазах друга всполохи злости. Соланке понадобилось немало времени для того, чтобы осознать: тщательно скрываемая ярость Джека есть зеркальное отражение его собственной.

В настоящее время годовой доход Райнхарта в среднем составлял шестизначную цифру. И тем не менее он постоянно, и лишь наполовину шутя, жаловался на отсутствие денег. Бронислава вконец извела трех судей и четырех адвокатов, обнаружив по ходу дела дар бесконечно судившихся диккенсовских Джарндисов, Соланке даже казалось – чисто индийский талант к бесконечному откладыванию и затягиванию разбирательств. И была этим безумно (возможно, в самом буквальном смысле этого слова) горда. Истинная католичка, она с самого начала заявила, что не подаст на развод, даже окажись Райнхарт дьяволом во плоти. Дьявол, сообщила она своим адвокатам, белокож, с короткими ножками, носит зеленый сюртук и туфли на высоких каблуках, забирает волосы в хвостик и в целом смахивает на философа Иммануила Канта. При этом он способен принимать любые формы – обернуться столбом дыма, отражением, глядящим на нас из зеркала, или укрыться под маской высоченного чернокожего супруга с неумным сексуальным аппетитом. «Мое отщипление сатане, – заявила она ошарашенным юристам, – сделает его пленником обручального кольца у меня на руке». В Нью-Йорке, где законные основания для развода можно пересчитать по пальцам, а о разводе без серьезных причин, просто по желанию одной из сторон, и речи быть не может, Райнхарт практически не имел шансов выиграть суд против жены. Он испробовал все: уговоры, подкуп, компромисс. Она упорно стояла на своем и не собиралась подавать на развод. В конце концов ему самому пришлось инициировать против нее процесс, который она, с присущими ей твердостью и решительностью, блеском и размахом, почти мистическим образом застопорила своим неучастием в нем. Свирепость ее ненасильственного сопротивления, пожалуй, впечатлила бы самого Ганди. Ей сошло с рук даже то, что на протяжении десяти лет она разыгрывала нервные срывы и физические недомогания с частотой, чрезмерной даже для мыльных опер. Сорок семь раз ее привлекали к ответственности за неуважение к суду, но ни разу даже не посадили в камеру, поскольку Райнхарт не дал суду полномочий совершать какие-либо действия в отношении его супруги. Так и вышло, что, перевалив за сорок, он все еще расплачивался за прегрешения, совершенные в тридцать. Он и в Нью-Йорке продолжал вести беспорядочную жизнь и не уставал превозносить этот город за богатство выбора. «Для холостяка с кое-какими деньжатами и склонностью к веселой жизни этот кусок земли, оттяпанный у аборигенов из племени маннахатта, – просто охотничий рай», – говаривал Джек.

Но Райнхарт холостяком не был. За те одиннадцать лет, что он жил в США после своего возвращения, Джек вполне мог бы перебраться в Коннектикут, в котором были разрешены разводы по желанию одной из сторон или, как вариант, отбыть недель шесть – или сколько там надо – в Неваде, чтобы, став ее полноправным жителем, разрубить гордиев узел. Но Джек ничего подобного не сделал.

Однажды, будучи навеселе, Райнхарт заметил, что при всей щедрости Нью-Йорка, предоставляющего благодарному мужчине самый богатый выбор, тут есть своя заковыка. «Им всем подавай высокие слова, – возмущался он. – Они все хотят, чтобы это было всерьез и надолго. Им всем нужна великая страсть, иначе шиш получишь. Поэтому они так одиноки. Выбор мужчин здесь не столь уж велик, но ни одна из них не будет зря тратить время и прицениваться, если знает, что сделка не состоится. Они никогда не пойдут в магазин, если у них недостаточно денег. Они не приемлют саму возможность аренды или таймшера. Они просто трахнутые в голову, парень. Это все равно что прикупить в собственность дом, когда цены на недвижимость взлетели до небес, и при этом знать, что вскоре они станут еще круче». Это откровенное признание Райнхарта отчасти объясняло, почему он раз и навсегда не покончит со своим затянувшимся разводом. Неопределенность положения предоставляла ему Lebensraum[12 - Мечту (всей) жизни (нем.)] – жизненное пространство и возможность дышать. Всегда найдутся женщины, готовые испытывать обаятельного красавца на прочность, пока им это не надоест.

Хотя ситуацию можно было истолковать иначе. На тех заоблачных высотах, где нынче все чаще обретался Райнхарт, на Большой Леденцовой Горе, когда-то вымечтанной американскими старателями, на фиццжеральдовском Алмазе Величиной с Отель «Ритц», он был неприкасаемым, не принадлежа ни к одной из тамошних каст. В тот самый миг, когда он возжелал того, что предназначается одним лишь олимпийским богам, он накрепко угодил к ним в ловушку. Он был, если помните, для них игрушкой. А где это видано, чтобы девочки выходили замуж за своих кукол?! Между тем положение наполовину женатого, безнадежно увязшего в бесконечном бракоразводном процессе мужчины позволяло Райнхарту обманывать себя. Может статься, на самом деле женщины не становились в очередь, чтобы выйти за него замуж. Да будь он в свои годы холостым – Райнхарт разменял уже пятый десяток, – всем было бы ясно, что свое время он уже упустил. Что в женихи (о это убийственное для сердцеда словцо!) он почти не годится.

Малик Соланка, на полтора десятка лет старше Райнхарта и куда более закомплексованный, чем Джек, частенько с завистью и восхищением наблюдал, как друг идет по жизни без оглядки, по-мужски. Горячие точки, женщины,

экстремальный спорт – вот она, жизнь настоящего мужчины. Даже стихи Джека, которые тот, правда, давно забросил, были написаны в мужественной манере школы Теда Хьюза. Соланка, несмотря на разницу в возрасте, частенько ощущал себя учеником, а не ментором Райнхарта. Простой кукольник может только снять шляпу перед виндсерфером, скайдайвером, прыгуном на пружинах, скалолазом, человеком, который дважды в неделю приходил в Хантер-колледж, чтобы потехи ради пробежать двадцать лестничных маршей, сначала вверх, потом вниз. Остаться мальчишкой – умение, до конца овладеть которым Соланке так и не довелось (слишком близко оно было к его запретному, зачеркнутому прошлому).

Тем временем голландский футболист Патрик Клуйверт открыл счет. Соланка с Райнхартом дружно вскочили на ноги, воздевая к потолку бутылки мексиканского пива и одобрительно крича. Тут прозвенел дверной звонок, и Райнхарт вдруг небрежно сказал:

– Знаешь, я, похоже, влюбился. Я пригласил ее сегодня к нам присоединиться. Думаю, ты не будешь против.

В таком поведении друга не было ничего необычного. Как правило, услышав звонок в дверь, Райнхарт объяснял, что пришла «его новая служба». Однако его следующие слова указывали на исключительность происходящего.

– Она из ваших, – бросил он Соланке через плечо по дороге к двери. – Индийская диаспора. Сто лет несвободы. Ее предки в конце девятнадцатого века нанялись рабочими и приплыли в этот, как-там-его – Лилипут-Блефуску. А сейчас ее сородичи контролируют там все производство сахарного тростника. Без них национальная экономика попросту развалится. При этом ты сам знаешь, что преследует индийцев везде, куда бы они ни приехали. Их не любят. – И Джек перешел на свой дурашливый говорок: – Ани шибко на работе надрываются, не компанейские и до черта нос задирают. Спроси любого. Спроси Иди Амина.

В продолжавшемся на экране матче голландцы играли просто божественно, но футбол неожиданно ушел на второй план. Малик Соланка подумал, что незнакомка, вошедшая в гостиную Рейнхартовой квартиры, была, вероятно, самой красивой индийской женщиной – вообще самой красивой женщиной, – которую он когда-либо видел. По сравнению с пьянящим эффектом, который оказал на Соланку ее приход, бутылку пива «Дос эквис» в его левой руке можно было считать попросту безалкогольной. Он понимал, что в мире найдутся и

другие женщины под сто восемьдесят сантиметров с черными волосами по пояс. Что и у других женщин бывают такие глаза с поволокой, и такие изящно очерченные губы, и лебединые шеи, и бесконечно длинные ноги. И даже такую в точности грудь вполне можно увидеть у другой женщины. Ну и что с того? В пятидесятые была популярна идиотская песенка, «Бернардина», ее пел Пэт Бун, один из любимых исполнителей его матери, христианин консервативного толка, и для Соланки с ней были связаны воспоминания об одном из самых ярких сексуальных моментов в его жизни: «Все части у тебя как у других, но как чудесно ты соединила их». Именно так, думал профессор Соланка, чувствуя, что тонет – точнее и не скажешь.

На правой руке у женщины, чуть повыше локтя, Соланка разглядел большой, плохо зарубцевавшийся шрам. Когда она заметила его взгляд, то тут же скрестила руки, чтобы прикрыть шрам левой рукой, не понимая, что эта отметина делает ее еще прекраснее в его глазах, поскольку вносит в безупречную красоту необходимый элемент несовершенства. Шрам демонстрирует всем, что ей можно причинить боль, что такая ошеломительная, неземная красота в одно мгновение может быть уничтожена, тем самым еще больше подчеркивая ее и заставляя бережно лелеять. Матерь божья, что за пафос в отношении совершенно чужой женщины, в замешательстве подумал Соланка.

Выдающаяся физическая красота притягивает к себе весь свет и становится путеводным маяком в объятom тьмой мире. Кто захочет вглядываться в сгущающийся мрак, когда можно обратить взгляд к ласкающему свету? Нужно ли говорить, есть, спать, работать, когда можно просто лицезреть красоту?! Зачем делать что-то еще, если можно просто взирать на нее до конца своей жалкой жизни? *Lumen de lumine*[13 - Свет света (лат.)]. Созерцая ее невероятную, звездную прелесть, которая заставила комнату вращаться, будто пламенеющая галактика, Соланка думал о том, что если бы он пожелал оживить свой идеал женщины, если бы у него была волшебная лампа Аладдина, то его идеальная женщина ничем не отличалась бы от стоящей перед ним незнакомки. Мысленно поздравляя Райнхарта, который, похоже, завязал с бесчисленными «дочерьми бледнолицых», профессор одновременно представлял себя с этой смуглой Венерой. Она разбередила что-то в самых глубинах навеки закрытого для всех сердца Соланки и заставила его снова вспомнить то, о чем он изо всех сил стремился забыть: разрыв с далеким и недавним прошлым оставил в нем кратер, дыру огромных размеров, заполнить которую могла бы – чем черт не шутит! – любовь этой женщины. Старая тайная боль всколыхнулась в нем, взывая об исцелении.

– Извини, старина, пра-а-сти меня! – Слова Райнхарта долетали до Соланки словно с другого конца Вселенной. – Она производит такое впечатление на большую часть человечества. И ничего с этим поделать не может. Не знает, как это вырубить. Знакомься, Нила, это мой друг Малик. Волк-одиночка. С женщинами он порвал раз и навсегда, что, кстати, видно невооруженным глазом.

Соланка отметил, как Джек забавляется, и заставил себя вернуться в реальный мир.

– К счастью для всех нас, – наконец изрек профессор, растягивая губы в некоем подобии улыбки, – иначе я непременно отбил бы ее у тебя. – И с досадой подумал: опять эти дурацкие созвучия. Нила – Мила. Желание преследует меня и предостерегает банальной рифмой.

Она работала продюсером в одной из лучших независимых телекомпаний, выпускала документальные фильмы. Как раз сейчас задумала проект, который требовал возвращения в родные места. На родине, в Лилипут-Блефуску, все очень непросто. На Западе люди думают, будто это настоящий рай среди Южных морей, идеальное место для свадебных путешествий или романтических уик-эндов, в то время как на самом деле там назревает серьезный конфликт. Отношения между индолилипутами и коренной народностью, элби, которая пока составляет большинство населения, но только пока, быстро накаляются. Чтобы привлечь внимание к проблемам своей страны, проживающие в Нью-Йорке представители противоборствующих сторон планируют провести на улицах города марши протеста, причем оба должны состояться в ближайшее воскресенье. Это будут немногочисленные, но яркие манифестации. Маршруты проложены так, что представители противостоящих кланов никак не должны встретиться, и все же Нила готова поспорить, что без столкновений дело не обойдется. Сама она намеревается принять участие в марше. Она говорила о политических волнениях на крошечном кусочке земли, и профессор Соланка видел, как пылали ее щеки. Для прекрасной Нилы этот конфликт был важен. Она все еще хранила связь со своей страной, со своими предками, и Соланка почти позавидовал ей.

– Здорово! А пойдете все вместе! – азартно воскликнул Райнхарт. – Точно, мы все должны пойти! Малик, ты же пройдешь маршем ради своего народа? Ну, ради Нилы наверняка пройдешь, по-любому. – Избрав шутливый тон, Райнхарт

явно просчитался.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Против (лат.).

2

Медийный мир (фр.).

3

Да обеспечат родители-католики своим возлюбленным чадам образование христианское, католическое (лат.).

4

Культурное смешение (фр.).

5

Кофейни (нем.).

6

Среднеевропейское (нем.).

7

Торт (фр).

8

Линцкий торт (нем.). Песочный с орехами.

9

Чернокожий (идиш).

10

Психологическая (нем.).

11

У нас есть Папа! (лат.) Формула, возвещающая об избрании нового Папы Римского.

12

Мечту (всей) жизни (нем.).

13

Свет света (лат.).

Купить: https://telnovel.com/ru/rushdi_salman/yarost

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)